

# ТАЙНЫ

Вып. XVII - XVIII

А. Лавинцев  
ЦАРИЦА ПОЛЯЧКА  
ОБЕРЕГАТЕЛЬ  
ТРОН И ЛЮБОВЬ  
НА ЗАКАТЕ ЛЮБВИ



# ИСТОРИИ

*в романах, повестях и документах*

# Александр Иванович Красницкий

## Оберегатель

(29.08.1866 г. Москва — 16.01.1917 г. С.Петербург /с.с.) — писатель, прозаик, журналист, стихотворец. Имевший более 50 псевдонимов, но больше известен под таким как "Александр Лавров". Единственный сын художника Императорской Академии Художеств — Ивана Яковлевича Красницкого (1830 г. Москва — 29.07.1898 г. С.Петербурге. /с.с.) Ранее детство Александра прошло в имении родителей в Тверской губернии, Ржевского уезда, а затем в разъездах с отцом по Московской, Тверской, Новгородской губерниям, древности которых фотографировал отец. Самостоятельно научившись читать в 5 лет читал без разбора все, что находил в огромной отцовской библиотеке. Не прошло мимо Александра и то, что его отец воспитывался с семьей А.С. Хомякова и встречался со всеми выдающимися деятелями того времени. Иван Яковлевич был лично знаком с Гоголем, Белинским, кн. П.А. Вяземским, Аксаковым и многими др. А, будучи пионером в фотографии, и открыв в 1861 году одну из первых фотомастерских в Москве, в Пречистенском Дворце, в правом флигеле, был приглашен и фотографировал Коронацию и Помазание на Престол Александра III, за что был награжден "Коронационной медалью". В свое время Иван Яковлевич был избран членом-корреспон-

дендом общества любителей древней письменности. Все эти встречи и дела отца отразились в дальнейшем на творчестве Александра Ивановича Красницкого. В 1883 году он написал свою первую заметку в "Петербургской газете", а вскоре стал профессиональным журналистом. Работал в "Петроградской газете" (1885), попутно в "Минуте" (редакция А.А. Соколова), "Новостях", в "Петербургской газете" был сотрудником до 1891, редактировал ежедневные газеты "Последние новости" (1907–1908), "Новый голос" (1908). В 1892 г. Александр Иванович стал сотрудником издательства "Родина" А.А. Каспари, которое находилось в С.Петербурге на Лиговской ул. д. 114. С марта 1894 г. стал помощником редактора вообще всех изданий: газеты "Родина", журналов "Родина", "Всемирная Новь", "Общественная библиотека", "Клад", "Весельчак", "Живописное обозрение всего мира". Редактировал издававшиеся А.А. Каспари газеты: "Последние Известия", "Новый голос", "Вечерний Петербург", "Новая Столичная Газета", юмористический журнал "Смех и Сатира", двухнедельный журнал "Сборник русской и иностранной литературы". Большая часть литературных работ Александра Ивановича напечатана в изданиях А.А. Каспари и в приложениях к ним, а, кроме того, многие произведения вышли отдельными изданиями у П.П. Сойкина, А.Ф. Девриена, М. Вольфа, Сытина. За весь период своего творчества Александр Иванович написал около 100 романов, многочисленное число рассказов, стихов. Им были написаны краткие биографические очерки "О Белинском", "О Пушкине", биографии и примечания к полным собраниям сочинений Пушкина, Жуковского, Гоголя, Никитина, произведениям "Герои Шекспира", "Французское нашествие 1913 г". Его книги "Петра Творение", Чудо-Вождь, "Слезы", "Маленький геркулес", "Под Русским знаменем", выдержали

несколько изданий. Пьесы "Генералиссимус Суворов" и "Ласковое телятко" с успехом шли на сцене народного дома.

29 января 1917 года, после продолжительной болезни, Александр Иванович скончался. Похоронен на Северном (3-м Парголовском) кладбище в С.Петербурге. Могила не сохранилась.

# Содержание

#1	0008
А. Лавинцев Оберегатель	0008
I ГРОЗНЫЙ АТАМАН	0008
II НЕЖДАННЫЙ ОКЛИК	0014
III ВНЕЗАПНАЯ ВСПЫШКА	0018
IV НЕЖДАННАЯ ВЫРУЧКА	0024
V В ЛЕСУ	0030
VI У ВРАТ ОБИТЕЛИ	0035
VII В ОБИТЕЛИ	0041
VIII НА СВОБОДЕ	0047
IX ТАИНСТВЕННАЯ БЕСЕДА	0052
X РАСКОЛЬНИЧИЙ ПОСЛАНЕЦ	0058
XI ТАРАРУЙ	0063
XII МЕЧТЫ ТАРАРУЯ	0069
XIII НОВАЯ ОПАСНОСТЬ	0075
XIV ДВА БРАТА	0080
XV ЛЮБОВЬ ОКОЛО ТРОНА	0087
XVI ВЕСТОЧКА ОТ МИЛОЙ	0093
XVII МЕЖДУ ЛЮБОВЬЮ И ДОЛГОМ	0100
XVIII НОЧЬ В САДУ	0105
XIX ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ	0112
XX ПОСЛЕ НОЧНОГО СВИДАНИЯ	0119
XXI НА БАЗАРЕ	0124
XXII ПРИМЕЧЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК	0131
XXIII НА ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ	0136

XXIV ТАРАРУЕВ УЗНИК . . . . .	0142
XXV ТАИНСТВЕННЫЙ ПРИСЫЛ . . . . .	0148
XXVI ПРЕД РОКОВОЙ ВСПЫШКОЙ . . . . .	0154
XXVII СОРВАННАЯ СМУТА . . . . .	0159
XXVIII ЦАРСКИЙ ОТЪЕЗД . . . . .	0165
XXIX ЛЮБОВЬ И ТРОН . . . . .	0172
XXX НА ПУТИ К ПЛАХЕ . . . . .	0177
XXXI КОНЕЦ СТРЕЛЕЦКОГО БАТЬКИ . . . . .	0184
XXXII ПОСЛЕ КАЗНИ . . . . .	0192
XXXIII У КРЫЛЬЦА . . . . .	0197
XXXIV ДЫХАНИЕ ЛЮБВИ . . . . .	0205
XXXV МУКИ ОЖИДАНИЯ . . . . .	0211
XXXVI РАЗБИТОЕ СЕРДЦЕ . . . . .	0215
XXXVII ПОСЛЕ ВСПЫШКИ . . . . .	0219
XXXVIII ПОСЛЕ РАССЕЯВШЕЙСЯ БУРИ . . . . .	0223
XXXIX МРАЧНЫЕ ТЕНИ . . . . .	0228
XL ОСУЩЕСТВЛЕННЫЕ МЕЧТАНИЯ . . . . .	0235
XLI РОКОВОЙ ЗАКАТ . . . . .	0238



# А. Лавинцев Оберегатель

## I

### ГРОЗНЫЙ АТАМАН

Вокруг большого и глубокого оврага, в стороне от большой проезжей дороги, пахло преступлением. Над кручами носилась стая воронья, пред пологим спуском была помята трава, поломан кустарник, как будто здесь только что была окончена отчаянная борьба. В ложбине оврага трава тоже была обмята и в воздухе носился запах свежей крови. И в самом деле, несколько в стороне виден был свеженасыпанный бугор, под которым, вероятно, была уложена на вечный покой жертва только что совершенного кровавого преступления.

То время было смутное. На московском престоле сидели малолетние цари Иван да Петр Алексеевичи, а за их малолетством всеми государевыми делами правила их сестра, царевна Софья Алексеевна. Она была умной,

способной правительницей, замечательно искусным политиком, но под нею все-таки не было той почвы, какая нужна для успеха государевых дел: не было законности власти. Последняя была захвачена ею с помощью стремившихся к своеволию бояр да разнуздавшихся стрельцов. Кроме того женщина на такой высоте — правительницы царства — была необычным явлением в России того времени, и пожалуй противников у царевны Софьи в годы ее регентства было всегда гораздо больше, чем сторонников и приверженцев.

Открытого недовольства ее правлением не было. Народ знал, что нужно же кому-нибудь быть на царстве, пока не подрастет наследник Тишайшего, царь Петр Алексеевич. Старики еще помнили ужасы лихолетья и были твердо уверены, что хоть какая-нибудь власть все же лучше, чем ее отсутствие, и поэтому сдерживали от открытого бунта против правительницы тех, кто был помоложе. Может быть, из-за этого соображения люди мирились с царевной, но умаление законов все-таки чувствовалось во всем. Правительница, чтобы удержать власть в своих руках и чтобы

самой удержаться "превыше царей венчан-ных", должна была делать всякие послабления своим наиболее заметным и могущественным приверженцам, а те, чувствуя свою безнаказанность, своевольничали, как хотели, вызывая протест и отпор со стороны народа, изнемогавшего от их своевольства и озорства.

Народная масса выражала свой протест против умаления и сокрушения закона и своевольства знати, как и всегда, грубо. Наиболее буйные и наиболее обиженные уходили в леса, на большие дороги, составляли разбойные шайки, грабили проезжих и преимущественно купеческие караваны, иногда нападали на помещиков.

Словом, чернь отвечала на своевольство и бесчинство знати своим своевольством и бесчинством. Неистовствовали верхи, их примеру следовали и низы. И, чем больше озоровали и насильничали первые, тем больше становилось разбойных шаек.

Страдать от этого приходилось тем, кто был мирен, для кого еще существовали законы и кто на них строил распорядок своей

жизни.

Жить становилось все тяжелее и тяжелее. Грубая сила крушила право. Никто не хотел знать обязанности. Каждый желал, чтобы его личная воля была законом. Кто был силен, тот был и прав.

Именно в силу таких условий и создалась большая разбойная шайка, обратившая в свои владения огромный дремучий лес с большой дорогой, пролежавшей на Москву. По всей округе наводили ужас разбойники. Про них говорили с ужасом, что это — не люди, а дикие, хищные звери, даже хуже их: ведь сытый зверь не трогал без надобности; злодеи же не только грабили, что было бы понятно в их положении, но и убивали, причем убивали не ради необходимости, а ради самого убийства, ради пролития крови. Бывали случаи, — правда, редкие, — когда даже некоторые из разбойников не выдерживали творившихся ужасов и убегали от товарищей, а затем, предпочитая верную гибель от руки палача, отдавались с повинною воеводам, хотя те и расправлялись с ними без всякого милосердия.

Особенно страшна была эта разбойная шайка своей сплоченностью. Во главе ее стоял человек несокрушимой воли, сотканный из железных нервов и отличавшийся прямо нечеловеческой отчаянностью. Кто он был — не знали даже ближайшие к нему люди из шайки. Он появился в этих местах никому неведомый, собрал людишек буйных и начал разбойное неистовство. Скоро вся округа дрожала от его разбойных дел. Действовал он всегда с отчаянной смелостью. На него и его шайку предпринимались большие облавы, но главарь был неуловим и ускользал, как тень, каждый раз, как только пробовали захватить его врасплох.

По рассказам убежавших из шайки можно было судить, что этот изверг был молод, но при этом, как рассказывали, лют по-зверски. Вид жертв, обреченных на смерть, жалких, вопящих о пощаде, будил в нем веселость, зрелище их смертных мук вызывало в нем хохот. В схватках он был неустрашим и всегда кидался туда, где была наибольшая опасность. В своих приговорах этот атаман был неумолим. За все проступки в его шайке было

только одно наказание — смерть, и не было известно случая, чтобы раз произнесенное решение было отменено. Благодаря этому железная дисциплина крепко спаивала между собою разбойников, заставляла их без всяких рассуждений повиноваться вождю. Если прибавить к этому, что всех беглецов из шайки вскоре после побега находили убитыми, где бы они ни прятались, то понятно станет, что редко кто решался покинуть грозного атамана. Напротив того, несмотря на тяжелейшие условия, к нему шли люди, шли чуть не толпами, и, если бы грозный атаман пожелал, он быстро мог бы составить громадное скопище отчаянных головорезов. Но он, очевидно, не желал этого — его шайка не была особенно многочисленна.

## II

# НЕЖДАННЫЙ ОКЛИК

В тот день, с которого начинается рассказ о правдивой истории давным-давно прошедших лет, шайкой было произведено нападение на проходивший мимо купеческий караван. Последнему не помог и конвой из стрельцов, сопровождавший его. Разгром был полный. Как и всегда бывало, ни в чем неповинные приказчики, извозчики, грузильщики были перерезаны без пощады, перебит был и конвой. Каким-то чудом уцелело только двое: один приказчик, отчаяннее всех сопротивлявшийся разбойникам, да еще несчастный жалкий стрелчишка, притворившийся мертвым в самом начале схватки.

Схватка на этот раз была жестокою. Сопротивление нападавшим было оказано и в самом деле отчаянное. Один уцелевший приказчик чего стоил! Силища у него была медвежья — он так и швырял наседавших на него разбойников. Атаман, вопреки своему обыкновению, приказал взять его живым и

даже без единой раны, а это стоило шайке четырех товарищей; двум из них силач, сопротивляясь, раздробил головы, двое еще умирали с переломленными позвоночниками.

Теперь этот силач, опутанный веревками, ожидая своей участи, лежал под деревом, с завязанными глазами, с толстым кляпом во рту.

Разбойники, утомленные схваткой и кровавой расправой с караванщиками, зарыли трупы своих несчастных жертв и отдыхали около громадного костра, разложенного в овраге без всякой опаски. Среди них очутился и стрелец. Утомленные кровавой бойней, душегубы взяли его к себе для забавы. Они уже порядком подпоили его хмельной брагой и громко смеялись, слушая его хвастливые пьяные речи.

Бедняга как будто не совсем ясно представлял себе, что именно произошло. По крайней мере он как будто чувствовал себя далеко не плохо среди душегубцев и, когда они хохотали, сам весело вторил им.

— Эх, ребята! — сказал он, оправляя обрывки своего стрелецкого кафтана, — взяли бы вы меня к себе, так никогда скуки не видали

бы... Уж больно я парень-то веселый.

— Ну, коли так, скоро на том свете развеселое житье пойдет! — глумились над ним разбойники.

— На том, так на том, — согласился пленник, — мне все равно...

— Будто? Иль жизнь опротивела?

— Не то, чтобы опротивела, а двум смертям не бывать, одной — не миновать. Поди, и сами это знаете...

— Как не знать? на этом и живем, — слышались отзывы, — кажинное утро просыпаемся, не зная, будем ли живы о полдень.

— И все теперь так живут, — возразил стрелец, — ишь, чем похвастаться нашли. Первеющие бояре и те с такими же думами просыпаются...

— Разве? Они-то с чего?

— Как с чего? Разве бояре-то не ваш брат Исаакий? Только и разницы между вами: вы на большой дороге народ православный грабите, а они на Москве златоверхой... И по вас, и по них два столба с перекладиной плачут: ждут не дождутся, когда пожалуют гости дорогие...

Громкий смех встретил слова пьяненького стрельца. Это ободрило его. Он потянулся к жбану с брагой, налил ее в ковш чуть не до краев, выпил единым духом, крякнул и утерся лохмотьями рукава.

— Молодец! — одобрил один из разбойников.

— Пить-то? — подхватил его замечание стрелец, — и не говори! Кто хочет пить научиться, пусть в московские стрельцы идет...

— Будто уж насчет этого так у вас на Москве хорошо?

— Чего хорошо! Море разливное... Есть не проси, а пить, сколько хочешь, заливай душеньку огненным пойлом. С тех пор, как померла царица светлая Агафья Семеновна да преставился после нее ее супруг, великий государь царь Федор Алексеевич...

— Тише, молчи! Атаман! — понеслось во круг и все разом смолкло.

К разбойничьему кругу около костра подходил высокий, красивый, далеко еще не старый человек в богатом кафтане с саблей на боку и двумя пистолетами за поясом. На его лице был виден отпечаток тяжелых страда-

ний, но глядел он вокруг себя с холодным высокомерием. Подойдя, он в упор уставился на хмельного стрельца, и его глаза вдруг злое еще сверкнули.

— Этот чего еще на сем свете болтается? — хрипло крикнул он, — чего ему на земле нужно? Или на том свете места мало?..

Он поднял руку, готовясь дать роковой для несчастного знак, но в это время вдруг раздался громкий, укоряющий голос:

— Князь Василий, а, князь Василий! Бога бойся!

### III

## ВНЕЗАПНАЯ ВСПЫШКА

Грозный атаман так и задрожал, услышав этот голос.

— Кто, кто смеет? — вырвался у него крик и, обернувшись, он грозно, свирепо, дико взглянул в ту сторону, откуда раздались укоряющие слова.

Пощаженный разбойниками силач-приказчик каким-то образом освободился и от наглазной повязки, и от кляпа и теперь, сидя

под деревом, с укором глядел на разбойника.

— Князь Василий, князь! — понесся при-  
давленный шепот среди разбойников, — так  
вот кто у нас атаман-то!

— С того-то он и лют непомерно, — доволь-  
но громко высказался один из разбойни-  
ков. — Княжеское отродье всегда видно: им  
бы только лютовать над нашим братом...

Разбойник не договорил: щелкнул вы-  
стрел — и несчастный со стоном повалился  
на землю, пораженный пулею атамана. Весь  
разбойничий круг, вскочивший на ноги, так  
и замер, а грозный атаман, как был, с дымя-  
щимся еще пистолетом в руке, очутился око-  
ло пленника.

— Узнал? — наклонившись к нему, задал  
он вопрос, — узнал-таки?

— Еще бы не узнать-то? — спокойно отве-  
тил тот, — мало разве на тебя нагяделся? Да  
ты об этом после... Теперь себя побереги...  
Вишь, твои-то как освирепели! Дай-ка мне но-  
жик путы разрезать, может, я еще пригожусь  
на что-либо...

Атаман оглянулся.

Случилось то, что нередко бывает среди

людей, сцепленных между собою только общностью преступления.

Вид товарища, корчившегося на земле в предсмертных муках, осатанил этих озверевших и без того людей. Может быть, это новое злодеяние их атамана было последнею каплею, переполнившей запасы их долготерпения; может быть, они сообразили, что не для того сошлись они все сюда, на большую дорогу, не для того порвали все, связывавшее их с честной, мирной жизнью, чтобы быть хуже, чем в рабском подчинении, и у кого?.. Пока они думали, что у такого же, как и они, обиженного и униженного, все было ничего и даже слепо-рабское подчинение не казалось особенно тяжелым. Но теперь, когда они внезапно узнали, что во главе их стоит ненавистное им "княжеское отродье", в них, собственно говоря, и на большую дорогу-то вышедших ради бессознательного протеста против неистовавшей и измывавшейся над угнетенным народом знати, закипела, разом проснувшись, ненависть; забыто было все прошлое, они в эти мгновения жили только одною ненавистью и жаждали крови человека, кото-

рому за миг до того повиновались беспреко-  
словно.

Теперь эти обезумевшие люди готовы бы-  
ли в клочки разорвать своего грозного атама-  
на. Он сразу потерял над ними всю свою  
власть, все свое влияние и из недавнего еще  
владыки обратился в беспомощного, загнан-  
ного зверя.

Атаман понимал и сам свое положение.  
Оно, действительно, было критическим. Из  
огнестрельного оружия, которым только и  
можно было сдержать наступавшую толпу, у  
него оставался только пистолет. Правда, у  
него была сабля — засапожный нож он кинул  
своему пленнику, — но что все это значило  
пред хорошо вооруженной толпой, у которой  
были и пищали, и пистолеты, и сабли, и тя-  
желые топоры-секиры?

Наступавшая толпа галдела, ревела, бесно-  
валась. Взлохмаченные волосы, дико сверкав-  
шие глаза, рубахи с еще не просохшею кро-  
вью, — все это сливалось пред атаманом в од-  
но хаотичное целое. Казалось, на него насту-  
пала не толпа его соучастников в разбоях и  
злодействах, а какое-то диковинное, многого-

ловое чудовище, освирепевшее, не знавшее пощады, жаждавшее его крови.

В таком положении атаман забыл о своем пленнике. Он видел пред собою только озверевшую толпу и понимал, что лишь хладнокровие и присутствие духа могут спасти его.

— Прочь, вы, песьи дети! — закричал он, поднимая оставшийся заряженным пистолет, — прочь вам говорят, волки бешеные! Первого убью, кто только шаг ступит...

Вид поднятого пистолета заставил толпу отступить назад шага на два.

— А, трусите, висельники окаянные? — закричал атаман. — Живо по местам все!..

Но на этот раз оклик не подействовал.

— Усь его, усь, собаку, — так и юлил пьяненький стрелец, натравливая разбойников на атамана. — Чего, братцы, стали?.. или вы, холопы несчастные, князя испугались?.. Вот он вам сейчас батожья горячего всыплет... Или давно, атаманы-молодцы, этого кушанья не пробовали?..

Стрелец суетился впереди всех. У него в руках был разряженный пистолет атамана, который тот бросил, кинувшись к своему плен-

нику. Пьяненький размахивал им и, указывая на атамана, выкрикивал:

— Айда! Усь его, чего стали!

Его ирония подстрекающе действовала на разъяренную толпу. Грозный атаман решительно ничего не представлял собою для этого чужака; он отнюдь не был для него грозой, и этот пьяница своими насмешками вконец разрушил остатки обаяния атамана.

— Подержи-ка лоб, негодник! — крикнул тот, сообразив положение, и, с этими словами, направив на стрельца пистолет, дернул за собачку.

Но судьба не благоприятствовала атаману. Последовала осечка, и толпа так и завывала, увидав новую неудачу своей жертвы.

— Ишь, ты без пороху палить вздумал? — закричал стрелец, — а еще князь именитый!.. Моего лба хотел, свой подержи! Вот так! — и он, схватив за дуло, метнул в атамана его же пистолетом.

Тот схватился было за саблю, но в этот же момент пистолет, кувырнувшись неуклюже в воздухе, угодил ему своей тяжелой рукоятью в голову около виска. Атаман слабо вскрик-

нул, взметнул руками и, ошеломленный страшным ударом, рухнул на землю.

## IV

### НЕЖДАННАЯ ВЫРУЧКА

Все это было делом одного мгновения.

Едва только упал сраженный атаман, как вся толпа разбойников, стремительно сбив с ног неутомного стрельца, кинулась к своему еще недавнему повелителю. Теперь-то, казалось, гибель этого человека была неизбежна, но тут случилось нечто неожиданное.

— Не трожь, ребята, говорю! — раздался ровный, спокойный голос и своею неожиданностью и спокойствием произвел на толпу магическое впечатление. — Посторонитесь-ка, братцы, поотодвинься малость!..

Пред толпой, выпрямившись во весь свой богатырский рост, стоял недавний пленник, приказчик разгромленного обоза. Его вид был необыкновенно внушителен. Он был на голову выше всех в этом разбойном скопище; в плечах у него что косая сажень была заложена

на; его руки, длинные и цепкие, спускались до колен, а грудь так и подымалась колесом под изорванною в клочья рубахою. Он стоял спокойно около лежавшего на земле без чувств атамана. Ярость освирепевшей толпы, очевидно, нисколько не пугала его. Он не боялся ее, как будто сознавая свое превосходство над всеми этими людьми, которые были более несчастны, чем злы. К тому же теперь он был не совсем безоружен: в его руках был огромный толстый суковатый кол, на который он совершенно спокойно опирался.

Толпа, ошеломленная неожиданным заступничеством за свою жертву, на мгновение приостановилась.

— Что стали? — крикнул кто-то из разбойников. — Забить их обоих!.. Вали, молодцы!

Повинуясь этому оклику, разбойники, но далеко уже не так дружно, как прежде, двинулись было вперед.

— Ну, ну, молодцы, — прикрикнул на них пленник, — полегче вы!.. Говорю, лучше отодвинься!

Он слегка пошевелил колом, и в этом движении было столько угрожающего, что толпа

и в самом деле несколько поотодвинулась.

Внезапно вспыхнувшее бешеное озлобление так же быстро и опало, как быстро вспыхнуло. Сознание просветлело, вернулась снова способность соображать и рассуждать, буйный порыв стих, и уже никому не хотелось подставлять свою голову под страшную палицу освободившегося пленника, силу которого все видели, а некоторые и на себе извели.

— Ну, вот так-то и лучше, братцы! — с добродушной усмешкой проговорил великан, — кажись, мы и без драки сговориться можем. Так вот, вы и послушайте меня...

— Говори! — раздалось несколько голосов, — ежели хорошее что скажешь, так отчего и не послушать?

— Вот и ладно! — отозвался недавний пленник. — Так вот, что я сказать вам хочу. То, что на большой дороге было, а потом в овраге, пусть Бог рассудит. Его святая воля! Ежели Он попустил, так, значит, было надобно... Он с виноватых взыскивает и не нам против Него идти. А вот что теперь будет, так это — уж наше дело. Этого человека я вам не уступлю: он мой уже давно... Старые счета

между нами, бо-ольшие счеты! Ежели к примеру, так сказать, я из него кровь по единой малой капельке всю выточу, так и то он у меня в долгу останется.

— Ого! — воскликнул кто-то из разбойников.

— Вот тебе и "ого", — отозвался богатырь. — Понимаете сами, почему я вам его уступить не могу... Да и на что он вам нужен? Ведь после того, что вышло, атаманом над вами он быть не может, — друг другу верить ни в чем не будете, а ежели вы убить его желаете, так бросьте! Не надоело вам, что ли, душегубство? Вы его мне отдайте, вот мой сказ. Согласны?

— А что нам за это будет? — выступил подбоченившись очухавшийся стрелец.

Великан посмотрел на него, засмеялся, а затем сказал:

— Чудишь, Ермил, брось смешить! А вы, братцы, ежели про выкуп меня спросите, то вам я, так и быть, отвечу. Головы ваши у вас на плечах уцелеют, вот это и будет вам моим выкупом. А вы мне коня дадите еще...

Он опять, словно невзначай, передернул

плечами и шевельнул колом. И слова, и жест показались настолько внушительны, что разбойники, переглянувшись только, все разом пришли к молчаливому соглашению.

— Ну, Бог с тобой, добрый молодец! Пусть наш атаман тебе достается; бери себе, что нам негоже! Хоть вот здесь, в овраге, свои счета с ним своди, мешать не станем...

— Нет, уж я лучше на стороне, — уклонился от этого предложения недавний пленник.

— Твое дело! Мы с тебя воли не снимаем. Бери его и уходи, коня тебе сейчас приведут. А что он — в самом деле князь?

— Природный! — усмехнулся богатырь. — С чего он в разбой пошел, того не ведаю, а только разбойником... да чего там разбойником! — зверем лютым он всегда был...

— Оно и видно! — раздался голоса, — и с нами он больше лютовал, чем промышлял...

— Ну, бери его, князя твоего, бери да уходи скорее! — закричал Ермил, — а не то товарищи свою милость назад возьмут... Вот тебе конь!

В самом деле подвели хорошего скакуна с хорошо снаряженным седлом.

Богатырь, как перышко, поднял тело все еще бесчувственного атамана и вместе с ним взобрался на коня.

— Эх, Ермил, Ермил, — укоризненно покачал он головой, обращаясь к стрельцу, — нехорошо ты делаешь, что здесь остаешься!

— Ладно, добрая душа, — выкрикнул тот, — не тебе знать, что для меня хорошо, что дурно! Поезжай-ка с Богом! — и с этими словами стрелец, превратившийся в разбойника, вытянул коня хворостиной и гикнул.

Испуганное животное рванулось с места и понеслось к дороге, вившейся по круче оврага.

Скоро становище разбойников скрылось уже из виду.

## V В ЛЕСУ

**К**онь был ходкий, привычный к грузу и бойко нес свою двойную ношу.

Богатырь, один устранивший своею решимостью столько отпетых злодеев, был с виду по-прежнему спокоен; тревога только тогда начинала скользить в его взоре, когда он взглядывал на своего бесчувственного пленника. Страшный удар рукоятью тяжелого пистолета не разбил ему головы, по крайней мере крови не было видно, но все-таки удар был так тяжел, что надолго лишил атамана сознания.

Однако тряска, неудобство положения на седле, свежесть надвигавшегося вечера уже понемногу приводили беднягу в себя. Все чаще и чаще раздавались его слабые стоны и был близок момент, когда он должен был окончательно опомниться.

Спасший его богатырь, слыша вздохи и стоны ошеломленного столь сильно бедняги, то и дело покачивал головой. Видимо он

сильно беспокоился за него. Наконец он решительно остановил коня и, осторожно придерживая недавнего атамана, сошел вместе с ним на землю. Они в это время были в лесу, уже значительно поредевшем, что показывало на близкий конец его. Может быть, из-за этого и остановился здесь освободившийся пленник.

— Пооправить бы его малость нужно, — тихо прошептал он, укладывая беднягу-атамана поудобнее у подножия большого, широко раскинувшегося своими ветвями дерева. — Эх, и людям показать нельзя... Признают, кто он, — в клочки разорвут... И куда бы мне укрыть его, вот чего не ведаю. Везде боязно оставить!

Как раз в это мгновение ошеломленный атаман пришел в себя. Быстро, нервным движением поднялся он на руках и осмотрелся мутным взором налитых кровью глаз.

— Где они, где? — закричал он, не узнавая местности. — Отчего их нет?.. А-а, вы меня убить захотели?.. Вот я вас!.. Всех перебью, будут помнить, окаянные!

— Будь, князь, спокоен, — склонился над

ним спасший его силач, — кроме меня никого нет... Твои-то все, ау, далеко!

Князь-атаман устремил на него свой воспаленный взгляд и забормотал:

— Это ты, Петька, опять ты! Откуда ты появился! Ах, да, помню... Ты опять спас меня от неминуемой смерти...

— Видно, так мне уж на роду, князь Василий Лукич, написано, чтобы тебя вызволять! — потрянул головой великан. — Из-под медведя я тебя выцарапал, от самого себя спас, из польской неволи высвободил, вот теперь опять привелось... Да что об этом говорить-то?.. Надо думать, что Господь мне так повелел свои счеты с тобою сводить. А дюже твои-то на тебя осерчали. Видно, осточертели им...

По лицу князя пробежала судорога, но он ничего не сказал в ответ.

— Вот не думал-то, — продолжал Петр, — что встречу среди разбойного сброда именитого своего князя Агадар-Ковранского... И как только это случиться могло? Ума совсем не приложу... Хоть ты мне скажи... А не хочешь — не говори; знаю — нелегко про та-

кие-то дела рассказывать...

Он опять взглянул в лицо князя. Оно было мертвенно-бледно; глаза были широко раскрыты, но в них не отражалось мысли; губы шевелились, как будто князь хотел что-то говорить, но слова не срывались с его уст.

— Ахти, беда, — опять закачал головою Петр, — вишь ты, снова обеспамятовал... Ох, грехи, грехи! Что же мне теперь с ним делать?

Он остановился и осмотрелся вокруг. Разбойничий конь, привыкший к подобным остановкам, спокойно пасся тут же на лужайке, поблизости. В лесу все было тихо. Близился вечер. Даже птицы переставали чирикать.

"Опять обеспамятовал, — думал Петр, — может, огневица начинается... Куда его девать? На село свезти? Нельзя! Ведь знаю его... видали атамана-то... Озlobятся и, поди, убьют, как увидят, а не убьют, так воеводе выдадут. Далеко завезти тоже нельзя: большого куда повезешь? И выходит: куда ни кинь, все клин! Что делать? Хоть бы Господь Батюшка на ум навел; у Него, Всемилостивца, и к зверям всяческая жалость есть... Чу, откуда это?"

Петруха весь так и насторожился, напряженно прислушиваясь к доносившимся откуда-то издали странным, нестройным звукам. Слышалось, как будто кто-то дробно часто ударял палками в большой железный свободно висевший лист. Удары были то глухие, сильные, с перерывами, то переходили в дробь, так и сыпавшуюся в лесном безмолвии.

Услыхав эти звуки, Петр весь так и просветлел.

— Милостив, видно, Господь к нечестивцу, — тоном глубокого убеждения проговорил он, — в било бьют, святая обитель близко...

Он подошел к князю. Тот лежал и бредил.

— Ясочка моя, касаточка! — довольно внятно срывалось с его запекшихся губ, — и счастливо пожить-то тебе злые люди не дали... Извели тебя вороги окаянные, Милославские лютые... У-ух, расплачусь же я за твой венец мученический с палачами твоими... Нет той муки, которой бы я для них не придумал...

— Все царицу покойную Агафью Семеновну вспоминает, — тихо, с грустью проговорил

Петр, — за нее Милославским отмщать собирается... Поди, он ее один и помнит, хотя много ли годков с ее мученической кончины-то прошло... Эй, князь Василий, — потряс он за плечо бредившего, — послушай-ка ты меня. Можешь подняться да на коня сесть?

## VI У ВРАТ ОБИТЕЛИ

Силы и сознание совершенно оставили князя Василия.

Несомненно, что потрясение было настолько сильно, что даже могучий организм этого человека не мог с ним справиться. С величайшим трудом взгромоздил Петр князя на коня, а сам пошел рядом, поддерживая его. Шел он на звуки монастырского била, доносившегося с каждым шагом коня вперед все явственнее и явственнее.

Так, с величайшим трудом пришлось пройти, продираясь сквозь кустарники, несколько больше версты.

Монастырек, маленький и бедный, ютился на обширной поляне с большим лесным озер-

ком. Плохо срубленная ограда сильно обветшала. Из-за нее виднелись крохотные, топорной работы, главки убогой монастырской церкви и соломенные крыши столь же убогих келий-изб.

Вся обителька была миниатюрна, словно игрушечная. От нее веяло великим покоем; жизнь с ее бурями и вихрями не добиралась сюда в эту безмолвную тишь. Озерко тоже было спокойно; оно словно спало невозмутимо среди лесных великанов — елей и сосен, росших по его берегам и защищавших его спокойствие от бурных шквалов налетавших иногда ветров.

— Господи Иисусе Христе, — ударив молотком, начал было Петр обычное монастырское обращение, когда добрался до плохо притворенной калитки в ограде, но даже и докончить не успел его.

— Ась, кто там? — послышался старческий шамкающий голос, — кого еще Господь Батюшка несет? — и словно из-под земли вырос старенький-престаренький монашек-привратник. — Ох, ох, что за люди? — шамкал он, — откуда такие?

— Путники, — ответил Петр, — двое нас... Вот товарищ неожиданно заболел... Примите Христа ради...

— Заболел? Ахти, беда какая! — засуетился монашек. — С чего же с ним приключилось-то такое? Вы уже подождите здесь Бога для, а я к отцу игумену сбегаяю... Недолго я, единым духом смахаю... Вон и братия собралась... Тоже, хоть и ангельского жития, а любопытствуют...

Действительно, внезапный стук Петра в калитку нарушил обычную тишину и всколыхнул замершую в обители жизнь. Появление новых людей было столь необычно для ушедших навсегда от мира стариков, что и в них заговорило уже давно забытое любопытство. Собралась вся братия: несколько древних монастырских, мохом обросших от своей древности, иноков да два-три послушника помоложе. Все они стояли и, не говоря ни слова, смотрели на прибывших, как на какое-то невиданное чудо.

— Ишь ты, конь-то как разубран! — произнес один из стариков и, сильно вздохнув, за чем-то прибавил: — о-ох, суета сует и суета

всяческая!.. Марфо, Марфо, пецешесе о мнозем... а ад-то вот тут совсем близко; костры горят, котлы кипят, враги рода человеческого ликуют... Что тебе, милый? — прерывая свои рассуждения, обернулся он к склонившемуся к его уху молодому послушнику.

— Откеле бредете? — деловито спросил другой старичок.

Петр не успел ответить: к ним подошел сам настоятель обители, такой же древний старичок, как и остальные, но только более суровый с вида. Он пристально взглянул и на Петра, и на снятого уже с седла князя, находившегося в забытьи.

— Кто такие? — отрывисто спросил он, когда Петр метнул ему земной поклон и подошел после того под благословение. — Чем недужит? — указал он на больного.

— В дороге попритчилось, — не отвечая на первый вопрос, сказал Петр, — трясовица, видно, злая... Приютите, святые отцы, Христа ради, не дайте погибнуть душе христианской без покаяния!..

— Как, отцы, думаете? — оглядел братию настоятель. — По-моему, недужного надобно

приютить...

— Приютить-то недолго, — выступил инок, шептавшийся с послушником, — отчего Христа ради недужного не приютить? Да как бы святой обители от того беды и греха не вышло?

— Какой беды? Какого греха? — уставился на него настоятель, — о чем, отец, говоришь-то?

— А о том, отец игумен, — ответил старец, — что не простой человек недужный-то, а лихой: душегуб и разбойный атаман, вот кто он такой... Слыхали, поди, шайка разбойных людей в нашей округе завелась? Так вот он над той лютой шайкой и атаманствует!

Сперва словно тихий шелест пошел среди безмолствовавшей братии, но потом привычка взяла свое и все замолкли.

Настоятель, внимательно поглядел на Петра и суровым тоном спросил:

— Правда?

— Правда, отче! — твердо ответил тот, смотря своим светлым взором в глаза монаху. — Лгать не буду!

— То-то ты и увильнул, когда я спрашивал,

кто вы такие будете... Сам-то ты тоже из душегубов большедорожных?

— Нет, отче, — твердо ответил Петр, — никогда разбойными делами не занимался и, пока Господь не попустит, заниматься не буду...

— Так как же вы вместе очутились-то?

В ответ на это Петр рассказал все, что случилось с обозом, к которому он принадлежал, а потом среди разбойников.

— Никогда я не лгал, — закончил он свой рассказ, — и теперь правду говорю. Грешник он великий, не одно только атаманство у него на душе... Много грехов у него, да ведь нельзя же дать погибнуть и такой душе без покаяния...

— Верно! — произнес настоятель. — Ну, отцы, как? Вы слышали...

— Нельзя принимать! — высказался все тот же старец, который первый заговорил против принятия недужного.

Остальные молчали, видимо присоединяясь к уже высказанному мнению.

— Стыдитесь, отцы! — громко воскликнул настоятель, — не узнаю я вас... Судите вы че-

ловека по делам его, которых и не знаете даже... Богу единому суд: "Мне отмщение и Я воздам", — говорит Господь!

## VII В ОБИТЕЛИ

Старичок-настоятель был взволнован и казался в то же время сильно разгневанным. Он смотрел, переводя взоры, то на больного, беспамятного разбойника, то на Петра, стоявшего около него с понуренной головой, то на смущенную его упреком братию. Наконец, он заговорил резко, властно, внушительно.

— Данной мне от Бога властью, — громко, отчетливо, повышая каждое слово, начал он, — беру я этого неведомого человека, лютой болезнью одержимого, в святую обитель нашу. Неисповедимы пути Промысла, и не нам — грешным, слабым людям — проникать в них! Не нам судить ближнего — пусть его Господь судит; пред лицом Господним все грехи человеческие... А тебе, отец Харламбий, — обратился он к старцу, указавшему, кто такой был недужный, — суетой мира прельщенно-

му и Христа Бога нашего позабывшему...

— Прости, отец, — склонился пред ним старец, — ангел, должно полагать, от меня отступился и лукавый посетил...

— Погоди, помолчи! — прервал его настоятель. — Тебе, говорю, суетою мира прельщенному, послушание назначаю: возьми недугующего к себе в келью и ходи за ним, пока не выздоровеет он. Ходи прилежно, без докуки, ты к тому же от Господа в понимании трав и кореньев лечебных умудрен... Вот твое послушание!

Провинившийся старец смиренно поклонился настоятелю и, указывая молодым послушникам на беспамятного князя-разбойника, сказал:

— Помогите-ка, мне, недостойному, милые! Немоцна плоть моя, сила оставила тело мое. Понесите-ка его, милые, в келейку мою... — Он снова поклонился в пояс настоятелю и добавил: — согрешил я, отче, согрешил, окаянный; прости ты меня, немощей моих ради!..

— Бог простит, — сурово ответил настоятель, — иди и впредь не греши! — Он внима-

тельно проследил, как послушники подняли недужного разбойника и понесли его к одной из изобок-келий, а затем распорядился: — коня-то выводите, напоите, овса задайте, Божья тварь! А ты, молодец, — обратился он к Петру, — иди за мной!

Скоро в обители наступила прежняя, ничем не нарушаемая тишина. Словно в сон глубокий погрузились и люди, и лес, и тихое озерко. Только по далекому небу плнли вечерние облака, гася последние отблески уже давно наступившего заката.

Наутро, чуть свет, Петр был отпущен игуменом. Долго длилась накануне его тихая беседа со строгим настоятелем и все, все без утайки рассказал он старцу — и про себя, и про князя Василия Лукича Агадар-Ковранского, и про его горемычную жизнь. Этот рассказ не был покаянною исповедью, но был так же правдив, как она. И внимательно слушал старик-игумен, чувствуя, что искренни были слова этого простодушного богатыря, что в рассказе ничего он не пытался скрывать от своего сурового слушателя.

"Прост, как дитя, парень, — вздыхая, думал

старик, — христиански незлобиво его сердце; как младенец он, а такие-то и Господу угодны"...

Отпуская, он благословил Петра и даже просфору ему дал, собственноручно вынутую.

Жизнь опять замерла в обители после отъезда Петра. Изредка бороздил челнок инока-рыболова гладь тихого лесного озера, а то не было видно по целым дням никого ни у ограды обители, ни на ее тесном дворе. Только рано по утрам да под вечер созывал монах-звонарь ударами в било братию на молитву в убогий храм.

Но жизнь замерла только во внешности... Мощно ворвалась она бурным потоком в тихую обитель, разлилась по ней всюду, вплеснулась в каждое сердце человеческое и нарушила его недавнее спокойствие. То и дело у келейки отца Харлампия, словно невзначай, сталкивались молодые парни-послушники, перекидывались будто мимоходом двумя-тремя словами и разбегались, как разлетаются испуганные воробьи в разные стороны, завидев приближавшегося старца.

Молодыми послушниками руководило лю-

бопытство; оно же беспокоило и отживших свой век старцев.

Легендарна была известность грозного атамана разбойников. Рассказы о его жестокостях приводили в трепет людские сердца. Сколько людей проклинали его, об этом только Бог один, всеведущий, знал, сколько человеческих жизней тяготило душу этого отверженца. И вот он, этот страшный человек, этот беспощадный душегуб, лежал в стенах мирной обители, в приюте великой Христовой любви, среди людей, давно уже позабывших, что такое ненависть. Старик-инок, высказавший ему неприязнь, ухаживал за ним, как самый близкий ему человек.

Отец Харламий оказался и в самом деле искусным врачом. От его снадобий князь-разбойник скоро почувствовал облегчение. Дня через три он пришел в себя, и только необычная слабость приковывала его к ложу. Сначала он долго не мог сообразить, где он, что с ним, кто такой этот старик, почему он то молится у плохоньких иконок, то возится около него, разбойника. Не раз разбойничьему атаману делалось смешно, когда он видел,

как, заслышав его стон, вскакивал прикорнувший было старик, как он спешил подать ему питье, ласково приговаривая:

— Господь с тобою, родимый, спи спокойно!.. Да хранят твой сон святые ангелы!..

Скоро князь-разбойник сообразил, где он и что с ним.

— А, пустосвяты проклятые, мироеды черные! — вдруг вспыхнула в нем злоба, — вылечат скорее, чтобы здорового воеводе выдать да жалованье получить... Знаю я их...

Ни с того, ни с сего беспричинная злоба на оказавших ему добро людей росла и росла...

Однажды инок Харлампий, отправлявший чреду в храм, не нашел в своей изобке больного. Кинулись искать его, не нашли и коня. Князь-разбойник, едва оправившись бежал из обители.

## VIII

# НА СВОБОДЕ

Действительно, князь-разбойник бежал, как только подорванные болезнью силы несколько вернулись к нему.

Основую всего его духовного существа была ярая, непримиримая злоба ко всем — и к друзьям, и к недругам. Был единственный в жизни момент, когда в этой мрачной, вечно бушевавшей душе всколыхнулась любовь, но это был только луч солнца, скользнувший случайно во мраке полярной ночи: скользнул, засветился на миг — и опять нет его, и снова крошечная тьма...

Однако этот единственный светлый луч, которым князь Василий Лукич Агадар-Ковранский был обязан своей любви к Ганночке Грушецкой, потом царице Агафье Семеновне, навсегда остался памятен ему, и воспоминание о нем ярко горело в его омраченной душе.

В неистовствах, в душегубстве, в кровопролитиях князь Василий утолял свою злобу на жизнь, но связь с жизнью еще сохранялась,

пока он не знал, что царица Агафья Семеновна скончалась. Вслед за нею скончался и сыночек ее, царевич Илья, а вскоре преставился и царь Федор, вынужденный жениться вторично на воспитаннице боярина Матвеева, Марфе Матвеевне Апраксиной. Видно, не вынес молодой государь тоски по любимой женщине и не приковала его к жизни другая, молодая и красивая, но не любимая жена...

Когда князь Василий узнал о кончине царя Федора, понял он, что значит истинная любовь, и, поняв это, разбушевался еще более. Слова пьяного стрельца Ермилы разбередили душевную рану, и, когда, выздоравливая, он вспомнил все происшедшее в овраге, злоба сильнее, чем прежде, забушевала в его сердце.

"Милославские, Милославские стубили ее, голубицу чистую!" — всплыла опять мысль, не раз уже приходившая князю в голову и ранее.

Эта мысль была первою, которая пришла ему, когда он услышал о кончине кроткой царицы. Она так и сверлила его мозг, не давала ему покоя, и кричала ему о мести за погуб-

ленную жизнь любимой женщины.

Именно эта мысль о мести более всего и побудила его тайком покинуть тихую обитель.

Князь Василий страшился расспросов, которые были неизбежны со стороны иноков. Он боялся, что его начнут упрекать его полной кровавых дел жизнью, стращать геенною огненной и всякими адскими муками. Князь знал, что ему в этом случае не сдержаться, что он вспылит, а между тем какое-то чувство, таившееся в глубине души, не позволяло ему обидеть чем-либо этих так хорошо относившихся к нему стариков.

Поэтому-то он и решил тайно покинуть обитель.

Словно волк, вырвавшийся из западни, чувствовал себя князь Василий, очутившись на свободе. Даже сил как будто прибавилось. Он гнал коня, немилосердно хлеща его бедра тугой с проволокою плетью: князю хотелось мчаться, лететь быстрее ветра, причем хотелось не потому, что он боялся, а потому, что ему нравилось так мчаться и вдыхать полной грудью свежий воздух, бодривший его в эти

мгновения.

Куда нужно держать путь, князь Василий не разбирал. Ему было все равно, — он не думал о будущем, а о прошедшем также не вспоминал, словно его и не было. Порой ему было даже весело.

Уставший конь пошел тише и тише. Князь Василий сообразил, что животное нужно беречь, — ведь другого такого коня ему не достать бы теперь скоро. Раздумывая, как быть, он припомнил, что поблизости от проселка, по которому он ехал, на большой дороге, есть заезжий дом, хозяин которого косвенно принадлежал к его шайке.

"Поеду туда, — беспечно решил Агадар-Ковранский, — не посмеет не принять меня".

В самом деле, весть о распаде шайки и бегстве атамана, по-видимому, еще не успела дойти в эти места. Хозяин-дворник встретил атамана с подобострастием, и чуть не в ноги ему кланялся, когда тот отдавал распоряжения выводить и накормить коня, а себе подать заморских вин побольше, да бокал пообъемистее, а ко всему этому и снеди всякой: после долгой поездки князь Василий чувство-

вал и голод, и жажду, и утомление не малые.

Насытившись и со слегка кружившейся головой, князь Василий приказал себе застлать постель в соседнем покое, строго запретил чем-либо беспокоить его и скоро заснул богатырским сном.

Когда он проснулся, было уже темно, но сквозь дверную щель из соседнего покоя проникали тонкие полоски света. Оттуда же доносились сдержанные голоса. Там очевидно были люди, и, прежде чем подать знак о своем пробуждении, Агадар-Ковранский решил узнать, кто это такие. Это предписывал ему инстинкт самосохранения. Дорога была большая, проезжая, вела на Москву. Всякого люду было по временам много, — могли быть и ратные люди, и люди от воеводы, а и тех, и других князю Василию приходилось не на шутку опасаться.

Руководясь этими соображениями, князь Василий встал, стараясь не делать шума, подошел к двери и через ее расщелину заглянул в соседнюю горницу.

Заглянув, он вдруг отшатнулся, словно в испуге и зашептал:

— Уж не наваждение ли? Зачем его сюда понесло? Не обознался ли я?..

Он снова примкнул к дверной расщелине и после небольшого промежутка, отходя от нее, прошептал:

— Да, это — он... Тараруй проклятый. Милославских прихвостень...

## IX

### ТАИНСТВЕННАЯ БЕСЕДА

**В** покое, куда заглянул князь Василий, были два старика и один молодой еще человек с бледным, испытанным лицом.

Один из стариков был одет, не то, чтобы бедно, но просто, зато на другом было богатое дорожное одеяние.

Этот старик был дороден собою и весьма важен с вида. Его лицо было могуче-красиво (даже седина красила его) но страсти и беспутная жизнь наложили на него свой заметный отпечаток.

Молодой человек был очень похож на старика, так что без ошибки можно было бы сказать, что это — отец и сын...

Так оно и было.

Старик был знаменитый воевода царя Алексея Михайловича, победитель шведского полководца Магнуса де ла Гарди под Гдовом, сперва могилевский, потом псковский и затем новгородский воевода, князь Иван Андреевич Хованский, стрелецкий воевода, заставивший царевну Софью и Милославских под угрозой бунта провозгласить братьев-царевичей, Ивана и Петра Алексеевичей, царями. Буйные московские стрельцы чувствовали на себе его железную руку, но обожали его благодаря его щедрости, а главное — потворству их всяческим бесчинствам.

За своего "стрелецкого батьку-Тараруя" — таково было прозвище Хованского — они всегда готовы были идти в огонь и воду, и такая преданность бесшабашных стрелецких голов делала князя Ивана Андреевича могущественнейшим человеком в Москве. Милославские пресмыкались пред ним, царевна-правительница всегда ощущала невольный трепет, когда видела близко от себя Тараруя.

Молодой человек был сын стрелецкого батьки, князь Андрей Иванович, променяв-

ший не совсем удачную военную карьеру на поприще юриста, — в это время он как раз выдал судный приказ.

Третьего из собеседников — старика — князь Агадар-Ковранский не знал, но, несколько прислушавшись, безошибочно угадал в нем раскольника. Да и кому же было столь близко и запросто быть около гордеца-князя? Ведь все его могущество было основано только на поддержке стрельцов да раскольников! Первые давали ему могущество в Москве, вторые — во всем московском государстве

Беседа велась между двумя стариками и, как это мог понять князь Василий, имела весьма серьезное значение.

Князь Хованский даже как будто заискивал пред раскольником.

— Ты сам посуди, — произнес он, — шатается святоотеческая вера...

— Именно, — подтвердил раскольник, — с Тишайшего пошло! Конца краю нет всяческим новшествам. Чего уж лучше: зелье табачное дымить в открытую стали...

— Вот и я-то говорю, — подтвердил его

мнение Хованский: — крепка наша Русь православная староотеческими преданиями и всякое проклятое чужеземное новшество только умаляет их...

— Вот-вот, — зашамкал старик-раскольник беззубым ртом. — Новшества, одни только новшества. Вот много ли побыла на престоле около царя проклятая еретичка, царица-полячка, а чего она только нашему государству не нанесла? Ведь подумать страшно! Московские люди, с царского попущения, стали богоподобный вид терять — бороду обстригать и волосы на голове тоже.

— А это царское повеление, — презрительно проговорил князь Иван Андреевич, — чтобы беглые с ратного поля люди бабьи охабни перестали носить? Ведь это одно каково было! Каким устрашением действовало!.. Вот хоть, к примеру сказать, о моих стрельцах-сорванцах: как гиль заводить или смуту там, так они первые были, а как на поле ратном, так сейчас и пятки показывают. Только и страха было, что бабьи охабни в мирное время вместо человеческих кафтанов. Этого и боялись. А как отменил это царь, так и справа

не стало, отмену же свою сделал по жены своей полячки настоянию.

Князь Иван Андреевич прекрасно знал, что царица Агафья Семеновна никогда полячкой не была, знал он и ее отца, Семена Грушецкого, не раз даже пировал с ним, когда был псковским воеводою, но тем не менее считал нужным вторить своему собеседнику.

А тот так и сыпал нападками на умершую уже царицу.

— Да-да! — с жаром продолжал он. — Ведь эдакое дело еретичка мерзкая завела! Святые иконы словно иконоборниха какая из храмов Божиих повыгнала. Что только ей, окаянной, на том свете будет!..

Хованский усмехнулся. Ему, прирубленно-му воеводе, были дики такие обвинения. Он был в достаточной степени индифферентен в религиозных вопросах и не находил распоряжении царя Федора о вынесении икон ничего особенного.

Дело в том, что в то время религия вообще недалеко ушла от идолопоклонства. Следы последнего сохранились во многих обрядах и обычаях. Так, например, был установлен и та-

кой обычай. Каждый мало-мальски значительный прихожанин приносил в свою церковь образ, пред которым одним только и молился и ставил свечи. Другие образа словно не существовали для него, он даже относился к ним поносно, а его ревность к своему образу доходила до того, что такой прихожанин не позволял никому другому теплить перед своим образом свечи, и не раз бывали случаи, когда из-за таких собственных образов между прихожанами одной и той же церкви происходили весьма великие ссоры, нередко завершавшиеся жестокими драками, а то и кровопролитиями. Само собой разумеется, что подобное безобразие в культурном государстве, каким была уже в то время Москва, не было терпимо, и указ царя Федора о вынесении собственных икон и недопущении впредь подобных собственных образов был встречен оставшимися в православии совершенно спокойно; вожди же раскола использовали его, как средство борьбы с новшествовыми никонианами.

— В ляхскую веру задумал государь, желясь на полячке, русский народ перево-

дить, — сеяли раскольничьи агитаторы семена смуты. — Пождите, ужо то ли будет! Вон уже везде стали сабли да польские кунтуши носить, скоро-скоро поляцкий крыж поставят и ему кланяться прикажут. А все это делает царица-полячка. Хуже, чем богопротивная Маринка Мнишек, она будет. Пойдет опять смута! — подкапывались агитаторы под ненавистную им династию. — Вон богопротивника, безумца Никона, чуть было царь-то на Москву не вызвал. Вот тогда пошло бы мучение...

## Х

### РАСКОЛЬНИЧИЙ ПОСЛАНЕЦ

**К**нязь Хованский был слишком развитой и умный человек, чтобы серьезно относиться к подобным обвинениям. Он только взглянул мельком на сына. Андрей Иванович сидел, совершенно равнодушно глядя в пространство перед собой ничего не выражавшим взором. Все то, что говорилось здесь, он уже слышал не раз, и ему было скучно при этом совещании, на которое неизвестно зачем по-

звал его отец.

— Ты как, Андрей, думаешь? — громко спросил его старик, желая чтобы внимание сына было всецело обращено на его разговор с раскольником. — Слышал ты, поди, что отец Федор-то говорит?

— Слышу-слышу, батюшка, — отозвался молодой Хованский наобум. — Иначе и быть не может. Как вы говорите, так и быть должно.

О том, как быть должно, князь Иван не сказал еще ни слова, но он сейчас же поддержал сына.

— Да-да. Справедливо ты, Андрюша, говоришь! — начал он, поглаживая окладистую бороду. — Пропадет вера православная, ежели некому будет поддержать ее. Где же найти такого, кто бы грудью мог стать за святоотеческие предания? Милославские? Да они только правительницей и держатся. А ей, правительнице, супротив их не пойти, свои они ей: дяди и братья. Да и сама-то она горазд проклятому латинству прилежит. Стала на стезю греховную и пешествует по ней, преисподнего ада не боясь. Есть у нее утешитель, князь Вася

Голицын. Ишь ты ведь тоже!.. Оберегателем его пожаловала она, а за какие такие доблести — неведомо. Вот оба они и вершат все дела. Пропадет из-за них Русь, ежели некому попридержать их будет, ежели хвосты им кто-нибудь не поприжмет...

— Ох, верно говоришь, княже, — вздохнул раскольник. — Могучи силы адовы, как и противостоят им, — не знаем. Уж сколько раз отцы совещаались, а все знамения не было, как с сим делом быть.

— Теперь же, — продолжал Хованский, не обращая внимания на слова собеседника, — ежели Милославские не годны, то Нарышкиных возьмем; о Стрешневых и говорить не стоит, их все позабыли и никто за ними не пойдет. Нарышкины же поослабли сильно и нет у них никого, кому бы народ верил. Новые они люди, в силу они войти не успели при покойном царе Тишайшем, а теперь-то им уже не подняться — задавили их Милославские. Знаешь, что, старче, я тебе скажу?

— Что, княже? — отозвался раскольник.

— Да вот о Нарышкиных-то. Слабы-то они слабы, попридавлены-то попридавлены, а

есть в их роду, кому их поднять и всех нарышкинских врагов в землю захватить. Растет среди них богатырь; в канавах теперь, несмотря на свои малые годы, хмельной валяется; сам он от горшка два вершка, а пожалуй и нас, стариков, всякому соблазному действу поучит, да, на все это не глядя, огонь дитя: ежели дадут ему вырасти — все сокрушит, все сотрясет, все на иной лад повернет.

— Это ты про антихриста малолетнего, княже, говоришь? — спросил старик-раскольник.

— Эх, — отозвался старик-князь Хованский, — антихрист он там или нет — того не знаю, а про юного царя Петра речь идет моя, так это верно. Вот кто страшнее всех для святоотеческой веры! Вот с кем не побороться будет! Был у нас пред лихолетием Грозный царь, а ежели этому дать подрасти, так куда он погрознее будет. Как бы блаженной памяти царь Иван Васильевич пред ним сосунком-младенцем не оказался.

Молчавший до того князь Андрей встрепенулся и заговорил:

— Так как же, батюшка, ежели от царя-на-

рышкинца беды ждать нужно, то неужели же руки сложа сидеть, пока он не вырастет и зубов не покажет? Ой, батюшка, не верится — ты уже прости на таком слове! — чтобы на Москве златоверхой человека не было бы, которому и народ бы верил, и который сам не желал бы горой стать за православную веру и святоотеческие предания. Или уже Русь так оскудела, что только одна мразь на ней осталась? Уж кому бы кому, а не тебе такое говорить! Или позабыл ты, как шведа де ла Гарди под Гдовом уничтожил, или ляха Воловича близ Друи поколотил, или такого витязя, как пан полковник Лисовский, в полон взял?.. А потом вспомни, как ты от татар рубеж наш оберегал. Ежели ты, по скромности своей, о столь славных своих делах позабыл, так не забыл о них народ московский. И каково нам слышать, как ты говоришь, будто на Руси одна только черная мразь осталась. Нет, батюшка, нет. Ты вспомни, что мы, Хованские, от литовского Гедимина через Наремунта Глеба приходим и шестнадцать наших родов на московском царстве налицо есть, и за каждым-то люди идут. А все Хованские за тобой

последуют, куда ты их ни поведешь, потому что верят они тебе. Вот что я скажу. А ты, отец, что? — обратился он к старику-раскольнику.

— Ловко гнут! — усмехаясь, произнес про себя слышавший всю эту беседу князь Агадар-Ковранский.

## XI ТАРАРУЙ

**Х**отя князь Василий и жил в полном отдалении от Москвы и ее кровавых дел того года, но все-таки слухи о стрелецких бесчинствах доходили и до него. Он знал о кровавой московской гили в мае 1682 года и о том, как Хованский, опираясь на буйных стрельцов, заставил возвести на престол обоих царей — Иоанна и Петра. Знал он и о беседах Никиты Пустосвята, закончившихся для раскольников, которых поддерживал все тот же Хованский, далеко не так, как ожидали они. Теперь он понял, что затевается новая смута и что уже раз оборвавшийся в каких-то своих надеждах князь Иван Андреевич начинает

снова "дьяволить", выставляя раскольников вперед для зачатия беспорядков.

Это нисколько не касалось князя Агадара, но тем не менее словно какая-то сила направляла его подслушивать эту беседу.

Старик-раскольник ответил на сразу. Очевидно он хотел пообдумать слова своего ответа, прежде чем произнести их.

— Так, — заговорил он. — И я вот тоже по малоумию своему думаю, что не одна только черная мразь осталась на святой Руси православной, есть кому и постоять за родную землю, всяческими новшествами угнетаемую. Но в то же время думаю, что прав и князь Иван, говоря, что ни на Милославских, ни на Стрешневых, а тем паче на Нарышкиных полагаться нельзя. Но на кого же тогда надеяться нам, от богоотступника Никона угнетенным? Кто может восстановить староотеческую веру и побережь народ православный от растления всяческого, геенну огненную ему готовящего? Где найти мужа доблестного, с душою, в отеческой вере укрепленной? Кто поведет народ на богопротивных отступников, иконопочитания отметающих и табач-

ным зельем дымящих? За кем может последовать народ? Кто столь могущественен, что может заставить идти за собой и ленивых?

— Да, да, кто? — воскликнул Хованский, в упор смотря на своего собеседника.

Ответ последнего был для него чрезвычайно важен. Это свидание было отнюдь не случайное, и ради него Хованский даже потрудился приехать из Москвы. Старик-раскольник тоже явился сюда уполномоченным от старообрядцев из глубины России. Неудача, постигшая Никиту Пустосвята, на которого так надеялись оставшиеся в старой вере, его казнь, грозный оклик царевны-правительницы на раскольников, которых она со свойственной ей энергией назвала возмутителями пред всем царством, а главное, полное равнодушие народа к догматическим спорам в Грановитой палате пошатнули дело возвращения к старой — дониконовской — вере, но не образумили вождей раскола. Впрочем, в это же время раскольникье движение уже выродилось и потеряло прежний свой религиозный характер, которым оно было еще недавно столь сильно. Не стало фанатиков в

роде Аввакума, боярыни Морозовой; пошла мелкая акуля стая, для которой смута являлась средством устраивать свои делишки.

Пользовались раскольничьим движением и Милославские, а теперь его стремился захватить в свои руки почти всемогущий Хованский. Старик-раскольник прекрасно понимал, что этому старому развратнику, для которого на свете ничего не было святого, совершенно все равно, как будет молиться народ — по-гречески, по-ляхски или по-лютерански. Он прекрасно понимал, куда гнул старый князь, говоря, что нет в Москве людей, и что значили речи его сына, указывавшего только на заслуги своего отца и промолчавшего о том, что князь Иван потерпел страшное поражение около Ляхович в битве с Сапетою Чернецким, и что в следующем после этого году его свыше двадцатитысячный отряд был совершенно уничтожен польским полководцем Жеромским, что и было причиною отозвания Хованского из Пскова и позорного в его положении назначения ведать ямской приказ. Но, слушая эти речи, старик не возражал и не пополнил их, ожидая, не будет ли сказано че-

го-нибудь такого, что раскрыло бы ему замыслы могущественного интригана. Однако, Хованский довольно ловко создал положение, при котором раскольничий посол так или иначе, а должен был высказаться.

— Ты спрашиваешь кто, княже? — медленно заговорил старик. — Да кто же таким доблестным мужем может быть, кроме тебя?

Тараруй, не будучи в силах сдержать свою радость, усмехнулся. Сказано было то самое слово, которое он уже столько времени выжимал у раскольничьего посла. Однако, он, продолжая играть комедию, произнес:

— Куда уж мне. Вон перестала меня и слушать правительница. Не уберег я главы старца Никиты...

— А скольким ты, батюшка, зато головы спас? Вспомни отца Сергия да садовника Никиту Борисова с товарищами! Разве не тебе они своими головами должны?

— Да, — ответил князь Иван. — Сберег я их, только уж и сам не знаю, как это вышло. Да навлек я тем на себя патриарший гнев. Дюже гневаётся на меня Иоаким-то, лютым зверем смотрит, когда встречаемся.

— Нет, княже, — перебил его старик, — что скромн ты — это похвально, а только напрасно ты умаляешь свое могущество. Мы-то знаем его, рассказывать о нем не надобно, а потому мы и надеемся на тебя. Послужи же вере отеческой, послужи земле родной, а мы тебя не выдадим. Бог наградит тебя на небе за труды твои, а на земле будешь ты возвеличен пред всеми. Будешь поставлен превыше всех в народе, и в том тебе мое слово порукою. Знаешь ведь, поди: не от себя я говорю, весь народ за тебя встанет, если мы того захотим.

Он пристально смотрел на Тараруя и приметил, что в его глазах отразился некоторый испуг.

И в самом деле, слушая раскольничьего гонца, стрелецкий батька тревожно думал:

"Неужто пронюхали они, куда гну-то я? Ведь ежели так, то торговаться немало придется. Столько заломят окаянные, что хоть все дело брось".

## XII

# МЕЧТЫ ТАРАРУЯ

Собеседники-заговорщики повели между собою разговор шепотом.

Князю Агадар-Ковранскому уже наскучило его подслушивание. Когда же в шепоте двух стариков ничего нельзя было разобрать, подслушивание и подсматривание окончательно потеряли для него всякий интерес, но его словно что удерживало у двери...

Однако князь Хованский и раскольник шептались недолго.

— Вот что, княже милостивый, — полным голосом, громко заговорил раскольничий посланец: — видно, пива с тобой не сварить, спорить только. И оттого не сварить, что все-то ты, как лиса, виляешь. Небось знаешь, как лиса от гончих увертывается? В сторону кидается, кружить начинает, след свой замечает. Так вот и ты, хотя никаких гончих нет и в помине. Брось лисить, давай напрямки говорить...

— Тише ты, старче, тише! — заметался ис-

пуганный Хованский. — Разве о таких делах громко говорят?

— Некому нас здесь слушать-то! — уже грубо прервал его старик. — А потайно что за беседа по делу важному? С уха на ухо потайность для бабьих сплетен надобна, а не для зрелых мужей, когда они о великих делах говорят. Говорю, брось, пойдем в открытую! Нам что нужно? Нужно нам, чтобы старая святоотеческая вера над еретическим никонианством восторжествовала. Для чего нужно? А для того, чтобы народ в нашем государстве Господу был угоден, чтобы не было двоеверия. Что уж и за народ о двух верах!.. Кто нам в таком деле восстановления отеческой веры помочь может?

— Батюшка! — произнес Андрей Иванович, вставая со скамьи, — вы уже тут говорите, а я на двор выйду, что-то голова разболелась!

— Чтож, иди, нытик! — неприязненно посмотрел на сына Хованский, недовольный тем, что он перебил речь раскольничьего посланца, и, когда князь Андрей вышел, обращаясь к последнему, сказал: — ну-ка, ну-ка,

говори, что дальше, я послушаю...

— Что бишь? — вернулся к прежней теме старик. — Да, кто нам в нашем деле поможет? Да кто же, как не ты, княже! Ты и удал, и смекалист, и государево дело править знаешь; на тебя и стрельцы чуть не молятся, пойдут они за тобой на любой рожон, как уже не раз ходили. Так, князь Иван Андреевич, али нет?..

— О-ох, уж и не знаю, — вздохнул Тараруй. — Ну, скажем, что так. Что теперь еще скажешь?

— А скажу я теперь вот что, напрямки скажу, без утайки. Все то, что я сказал, ты и без меня и знал, и знаешь, и напредки ты обдумал, из-за чего стараться будешь, если с нами сойдешься.

— А из-за чего? — вызывающе крикнул Тараруй и даже подбоченился при этом. — Из-за чего? Ну-ка, скажи!

Раскольничий посол пристально посмотрел на него и усмехнулся.

— Мономаховы шапку да бармы добывать собрался, ежели не для самого себя, так для сынишки своего Андрюшки, — медленно вычеканивая слова, произнес он. — Вот из-за че-

го и старания твои будут.

— Молчи, молчи! — залепетал, отшатнувшись в испуге, Тараруй. — Что ты? с чего взял?..

— Да ладно, — засмеялся старик-раскольник, — чего уж тут? Видишь, знаем, куда ты метишь. Спервоначалу ты размыслил своего Андрюшку на какой-либо из царевен женить. Много ведь их после Тишайшего осталось!.. Женил бы ты Андрея, а стрельцы горланством своим его на престол посадили бы, и стал бы он, телпень-то твой, царем-государем, а ты — царским отцом, в роде Филарета Никитича. Ну, так или нет? Правду я говорю?

— Так, — чуть слышно ответил Тараруй, подавленный таким разоблачением своих сокровеннейших планов, — не отпираюсь, так...

— Еще бы не так! — усмехнулся старик. — Понадумав такое, ты и о себе вспомнил. Сын-то сыном, да и батька хоть куда. Борода-то у тебя сивая, а хоть сейчас под венец брачный, благо невеста подходящая есть. Думаешь, не знаем кто? Знаем: царевна Софья Алексеевна, правительница-то наша.

— Да что ты, что ты! — сделал Хованский

слабую попытку опровергнуть новые разоблачения, бившие его, как обухом по затылку. — Нешто может такое статья, чтобы царевна за меня пошла?..

— Она-то? Ишь простачек какой! — засмеялся не то злобно, не то дерзко старик. — Да ежели бы только Ваську Голицына изжить — оберэгателя-то! — так не в монастырь же ей идти. Она — баба в соку, и такой супруг, как ты, ей совсем под стать. Царей-то-малолеток, Ивана и Петра, тоже изжить можно. Что в них проку? Иван — недоумок, а нарышкинец — да ежели он вырастет, сам всем на плечи сядет, сам ты сказал. Пусть поднимется малость, так такие, как ты, ползать пред ним будут...

— Ну, уж ты! — огрызнулся Иван Андреевич.

— Чего? — взглянул на него старик, — дело говорю. Голицына по-боку, царей изжить, и станешь царем ты — ты, Тараруй, поляками битый...

Раскольничий посланец остановился и испытующе смотрел на Хованского. Тот сидел, словно придавленный, Он никак не ожидал,

чтобы люди, которых он хотел сделать оруди-  
ем своих замыслов, уже проникли в его со-  
кровенные мечты.

— Мы, — закончил свою речь старик-рас-  
кольник, — от помощи в твоих делах не  
прочь. Такой, как ты, для нас совсем подходя-  
щим на престоле будет. Взберешься ли ты сам  
на него, царевым ли отцом станешь, крепко  
мы тебя в руках держать будем. Так в ежовых  
рукавицах зажмем, что без нас вздохнуть не  
сможешь, не только что помыслить. А будет  
через то, — восторженно выкрикнул ста-  
рик, — святоотеческой веры восстановление!

### XIII

## НОВАЯ ОПАСНОСТЬ

Все то, что услышал князь Василий, поразило ужасом даже его закаленную душу.

Ведь еще так недавно была кровавая, безобразная смута, устроенная раскольниками, поддержанная буйными стрельцами-преторианцами. Вот этот же самый Тараруй верховодил смутьянами. Сила была на его стороне; что он хотел тогда, то и делал. Теперь поднималась новая смута; снова должно было произойти потрясение государства, и ради чего? Да ради того только, что проклятый Тараруй, пьяница и развратник, возомнил о себе, что он достоин воссесть на царский престол.

Последнее сильно задевало Агадар-Ковранского. Между ним и Хованским решительно ничего не было, никакого зла; они даже не знали друг друга. Вряд ли когда Хованский даже слышал о князе Василии, но именно это самое и разжигало злобу в князе Василии против могущественного "стрельцового батьки".

"Постой же ты, Тараруй окаянный! — ду-

мал князь, — вот я покажу тебе, как на царское здоровье злоумышлять!.. Видно, и в самом деле есть Бог, ежели Он меня сюда нанес, и я про все ваши замыслы прознал"...

Он потихоньку, крадучись отошел от двери. Последние слова, слышанные им, были: "август"... "крестный ход"... "чтобы к новому году все покончено было"...

Злобствуя на Тараруя, князь Василий невольно натолкнулся на мысль, что предстоящая смута доставит ему полную возможность потешить свою злобу, свою буйную натуру. Он уже решил пойти против Тараруя, сокрушить все его замыслы, разбить все его планы. Как это могло бы удалиться ему, князь Василий не знал, да пока и не думал об этом. Им владело желание, и он всецело отдавался ему.

Он очутился около окна. Было порядочно темно, но князь уже не раз бывал в этой горенке и прежде; он знал, что за окнами находится конюший двор, а через него можно выбраться и на большую дорогу.

Смело подняв окно, он очутился одним прыжком за подоконником. На дворике все

было тихо, изредка доносилось фыркание лошадей в конюшне. Князь Василий осторожно, не производя шума, обогнул надворные строения, подошел к дверце, которая, как он знал, ведет в хозяйские горенки, и только что хотел постучаться, как перед ним вдруг, словно из-под земли, выросли две человеческие фигуры.

— Постой-ка, добрый молодец, — услышал он грубоватый мужской голос, — давно мы за тобой приглядываем, видели, как ты и из окошка выпрыгивал. Дай на тебя поглядеть, что ты за птица такая!..

Князь Василий не ожидал этого. Он схватился было за пояс, но свой нож он оставил в покое, где спал, и потому теперь был безоружен, а его противники, которых уже стало пятеро, все очевидно были хорошо вооружены.

— Пустите меня! — рванулся он, — как вы смеете держать меня? Вот я вас...

В ответ ему тихо засмеялись.

— Ну, так и есть. Он самый! — раздались тихие голоса. — Попался-таки. Уж теперь-то не уйдешь!

Легкая дрожь пробежала по всему телу

князя. Он по голосам узнал теперь, что пред ним разбойники из его недавней шайки. Искали ли они атамана, или нет, или просто случайно натолкнулись на него, забравшись сюда, на заезжий двор своего сообщника, — этого князь Василий, конечно, не знал, но по злорадству, какое слышалось в этих голосах, он чувствовал, что ему грозит большая опасность.

— Братцы! — взмолился он, прикидываясь испуганным. — Да что же вы? Да разве я вам зло какое сделал?

— Ага, узнал-таки! — тихо ответили ему. — А о том, что сделал, потом все вместея поговорим.

— Бери его, ребята! — раздался новый, незнакомый князю-атаману голос. — Еще переполошит он всех. Бери его!

Князь Василий почувствовал, что ему накинута на голову какую-то большую ткань. Он хотел крикнуть, но его голос был совершенно заглушён. Несколько рук схватило его так крепко, что он не в состоянии был повернуться. Потом его опутали веревками и быстро понесли куда-то. Несли на руках; князь Ва-

силий и не думал сопротивляться. В его голове само собою создался смелый план.

А в горнице заезжего двора Тараруй все еще продолжал свою потайную беседу с раскольничьим посланцем.

— Хоть и не думал я никогда того, что ты мне, отче, сейчас изъяснил, — льстиво и вкрадчиво сказал он, — а вижу, что ежели служить святому делу, так до конца служить надобно. Может быть, так-то и лучше выйдет. Ведь правительница тоже в сторону всяческих новшеств гнет; не надежна она для отеческой веры, ох, как ненадежна! Не столп она ее и даже не подпорочка. А ежели нарышкинец вырастет, еще хуже будет. Стало быть, нужно, чтобы был у отеческой веры такой столп, которым она прочно держалась бы.

— Вот ты и будь таким столпом, княже! — поддержал его старик. — Тебе мы верим, хотя и ты — такой столп, что много еще к нему подпорок надобно! Так по рукам, что ли?

— По рукам! — согласился Хованский, лицо которого так и сияло, — значит, к новолетью и все у нас по-старому будет...

— Дай Бог! Только, чтобы уже на этот раз

верно все было, не так, как в прошлый раз. Шума сколько хочешь, а дела ничего.

Хованский только улыбнулся.

— А теперь и силы подкрепить можно! — сказал он.

## XIV ДВА БРАТА

В пышных палатах князя Василия Голицына стояла невообразимая толчея. По всем покоям суетились многочисленные слуги, собирая со стен роскошные персидские ковры, укутывая мебель в чехлы, упаковывая в наполненные сеном ящики статуи и различные скульптуры, навезенные из-за рубежа. Похоже было, что хозяин этих роскошных, но совсем не на русский лад обставленных палат, собирался надолго в отъезд и брал с собой все то, что ему было так или иначе дорого.

Так оно было и на самом деле. Князь Василий Васильевич Голицын отъезжал из Москвы со всей своей семьей, отъезжал спешно. Никто не знал и не ведал причины этой спешности, но отъезд Голицына задевал ин-

интересы многих.

Князь Василий Васильевич был не единственным среди московской знати, жившим уже на иной, близкий к зарубежному, лад. Он, не стесняясь, выставлял те новшества, которые перенял в свою жизнь от Запада. Слуги в его доме были одеты одни по-польски, а другие на парижский лад. На кухне у него были повара, выписанные из Парижа, а так как они готовили куда вкуснее московских поваров, то на интимные пиры к Голицыну любили ездить московские знатные люди, которые были помоложе и для которых отступление от дедовщины не считалось грехом. Бывали у Голицына и старики, но это стало случаться лишь в последнее время, когда на высоте царского престола очутилась могучая царица Софья.

Действительно, Голицын собирался в отъезд из Москвы, и никто пока не знал, какая его муха на то укусила.

Москва только что успокоилась от раскольничьих и старообрядческих безобразий, унятых не столько вооруженною силой, сколько находчивостью и поистине царским

могуществом царевны Софьи. На Красной площади еще стоял стрелецкий столб, напомиравший всем и каждому, что пока стрельцы являются истинными владыками Москвы, а их батько Хованский и самой царевне-правительнице, и даже самим царям, на престол венчаным, указать все, что угодно, может. Конечно тем, кто был родовит, такое положение далеко не нравилось, могуществом обоих Хованских знать тяготилась и не добром поминала Милославских, которые разожгли эту смуту, и, дав возможность стрельцам почувствовать свое могущество, тем самым вывели на высоту Тараруя и его сына.

Пока в доме шли переполох и суета, князь Василий Васильевич в глубокой задумчивости сидел в своем кабинете у письменного стола, в изобилии обставленного на зарубежный лад всяческими безделушками.

Он был в ту пору еще молод и красив. Его лицо отражало пронизательный ум, глаза смотрели задумчиво и всегда были устремлены вперед, как будто князь Василий был намерен постоянно прозревать будущее. Одет он был тоже не по-московски — в длинный

камзол с откидными, закинутыми назад рукавами, и в польские шаровары, красиво заправленные в невысокие, расшитые сапоги. Волосы на его голове были коротко острижены, подстрижена была клинчато и борода, так что князь Василий Васильевич по своей внешности ничуть не напоминал знатных москвичей того времени. Если прибавить к этому, что около него стояла трубка с длинным мундштуком, а на столе — светец с фитилем для закуривания, то контраст еще резче кидался в глаза, потому, что курение хотя и было распространено, а при покойной царице Агафье Семеновне в дворцовых палатах курили почти все, но после ее кончины и в особенности после кончины царя Федора новые обычаи были поприпрятаны, чтобы не раздражать стрельцов и раскольников. Только князь Василий Голицын да еще несколько сорви-голов шли наперекор общему положению и нисколько не скрывали своего пристрастия к иноземщине и всяческим зарубежным свычаям.

Князь Василий Васильевич был не один. Против него за тем же столом сидел другой

Голицын, князь Борис, его двоюродный брат. Этот Голицын носил старомосковскую одежду, длинноватые волосы и только по свободному обращению да звучавшей еще более свободно речи можно было заключить, что это — новый человек, столь же новый, как и его брат.

— О-ох, ахти, Васенька, — произнес князь Борис, — с чего это ты наутек собрался? Или новую грозу предвидишь, или с разлапушкой своею рассорился? Уж очень ты скороспело вспархиваешь. Смотри, не сядь с небес, да в воду!

Князь Василий Васильевич в ответ слабо улыбнулся и промолвил:

— Полно, брат Борис! О каких ты там небесах говоришь? Не ведаю я того. Было когда-то дело, это — правда, а теперь... что теперь? Все было, да прошло и быльем поросло.

— Ну, полно тебе, с чего туман-то напускаешь? вся Москва знает про твои дела.

— Про какие такие дела? — высокомерно спросил князь Василий Васильевич. — В толк не возьму я, о чем ты говоришь, брат Борис.

— Ну, полно, полно!.. Уж разобиделся! —

отступил тот назад. — Твое дело! И я тоже забыл, что промеж двоих третьему вступаться нечего, а ежели и начал что говорить, так только потому, что тебя жалею. Ведь подумай: совсем не вовремя ты уезжать собрался. Смута только унялась, стрельцы спокойны, Тараруй хвост поприжал. Теперь такие, как ты, царевне в подмогу, ой-ой, как нужны! Где она другого такого возьмет. Все около нее медведи Тишайшего да лисы Милославских стоят. Никто ей, голубушке, правды не скажет, всякий на свой лад понимает и на свою сторону тянет. Ты же один был при ней, который без всякого стеснения мог говорить ей всю правду. И вдруг ты покидаешь ее и уходишь. К чему, зачем? Ведь ты не только ее, но и всех нас покидаешь: пропадай, дескать, вы! Да, так и будет. Ты хотя и молод, а для всех нас, Голицыных, и для тех, кто с нами, — голова.

Князь Василий Васильевич опять улыбнулся, и в его улыбке отразились и грусть, и насмешка.

— Эх, брат Борис, — проговорил он, — вот рассуждаешь ты и, думаю, говоришь только

то, что сердце ведаёт. Знаю, что и жалеешь ты меня, и за себя боишься. Но что же поделать, ежели такое время для меня подошло? Вот подумай-ка, каково мне сидеть да глядеть, как другие государыней-царевной промышляют. Что я для нее такое? Забава на время малое, да и только. Ну, нравился я ей, говорю тебе о том откровенно, как брату, а как нравился? — как игрушка, как кукла нравится забавляющемуся дитяти. Понаиграется дитя и бросит, и забыта игрушка. А нешто я могу в таком положении быть? Нешто наша голицынская гордость может допускать это? Так уж лучше, Борисушка, вовремя уйти.

## XV

# ЛЮБОВЬ ОКОЛО ТРОНА

А как же очутилась на престоле, или почти на престоле, эта царевна-богатырша, эта могучая дочь "горазд тихого" царя Алексея Михайловича, любимая воспитанница развселого пиита-мниха Симеона Полоцкого, о которой только что вспомнил князь Василий Васильевич Голицын?

Два-три слова истории отнюдь не помешают общему ходу этого правдивого повествования. Вот они.

Софья Алексеевна по матери была Милославская и сохранила в своем характере многие типические особенности этого молодого рода боярских выскочек, и в знать-то попавших только потому, что интриги боярина Морозова удалили от царя любимую им Евфимьюшку Всеволожскую и выдвинули в царские невесты Марью Ильинишну Милославскую. Последняя вскоре стала русской царицей, но была женщиной тихой, незаметной и не оставила по себе совершенно никакого

следа, кроме многочисленного потомства.

Сестра Марьи Ильинишны стала боярыней Морозовой, и таким образом, Тишайший царь породнился с одним из самых коварных интриганов своего двора.

После смерти царицы Марьи Ильинишны царь Алексей Михайлович женился на мелкопоместной смоленской дворянке Наталье Кирилловне Нарышкиной, и, конечно, в славу вошел род Нарышкиных и затмил было своим влиянием Милославских. Так было до смерти Тишайшего царя, а в начале царствования его сына Федора Милославским снова удалось занять первое место среди дворцовых бояр. После смерти Федора Алексеевича, последовавшей очень скоро вслед за кончиной его юной супруги, Агафьи Семеновны Грушецкой, на царство в 1682 году вступил малолетний царь Петр Алексеевич, и вместе с тем, конечно, опять вошли в честь и славу его родственники Нарышкины. Милославские выдвинули со своей стороны царевну Софью и путем дворцовых интриг и народного возмущения, в котором главную роль играли стрельцы — "преславная надворная пехо-

та" — добились того, что вместе с Петром Алексеевичем на царство был возведен его старший слабоумный брат, Иван Алексеевич; при этом, вследствие неспособности к какой бы то ни было умственной деятельности царя Иоанна V и малолетства Петра I, правление государством было поручено царевне Софье, старшей сестре обеих царей.

Во всем этом деле главную роль сыграли стрельцы, хотя и не довели до конца своего действия.

Милославские были уверены, что в этих кровавых беспорядках, происшедших в мае 1682 года, погибнут все Нарышкины, не исключая даже и малолетнего царя Петра. Но они ошиблись в расчетах. В жертву судьбе был принесен только юный брат царицы Натальи Кирилловны, Иван Кириллович Нарышкин, которого стрельцы выбросили из окна второго этажа дворца на копья стоявших внизу товарищей. Малолеток царь Петр остался невредим, а вместе с тем и Софья Алексеевна, став правительницей и пользуясь неограниченной властью, тоже не оправдала надежд своих "дядьев". Когда вскоре по-

сле этого раскольники, пользуясь еще не совсем улегшейся смутой, вздумали было при помощи все тех же стрельцов вооруженной силой вновь водворить на прежнее место "древле-препрославленное благочестие", то Софья Алексеевна так обошлась с ними, что главный вожак московских раскольников, Никита Пустосвят, поплатился за свое смутьянство головою, а другие его пособники оказались в таких сибирских дебрях, куда не только птицы не залетали, но даже и политических преступников никогда до того не ссылали.

В то время во главе стрельцов уже стоял князь Иван Андреевич Хованский, известный стрелецкий "батька" Тараруй; но даже и его влияние на стрельцов оказалось ничтожным в сравнении с влиянием могучей красавицы-царевны Софьи, одним своим окликом укрощавшей пьяные ватаги "надворной пехоты".

Однако, царевна Софья Алексеевна, несмотря на свой ум, энергию и почти мужскую неукротимость в достижении цели, все-таки была женщиной, и ничто женское ей не

было чуждо. Ее женское сердце жаждало любви, и любовь жила в ее сердце. Еще когда она была девочкой-подростком, ей полюбили молодой князь Василий Васильевич Голицын, один из замечательнейших щеголей того времени. Чуть не с детства он изъездил почти все зарубежные государства, бывал и у дождей венецианских, и у дюков итальянских, и в Риме у папы был, и по священной Римской империи путешествовал; ко всему он там присматривался и все, что видал там хорошего, спешил перенести на свою родину. А юная головка Софьи была уже в то время полна рассказами развеселого мниха Симеона Полоцкого о том, как живут за рубежом. Поэтому не мудрено, что красавец Голицын стал идеалом юной царевны. Еще при ее "горазд тихом батюшке" слюбилась она, и не раз темные ароматные летние ночи покрывали своей непроницаемой завесой страстные свиданья царской дочери и ее красавца-палладина.

У царевны на глазах был печальный пример ее теток, так и оставшихся вековушками-девицами только потому, что они имели несчастье родиться царскими дочерьми. А Со-

фья Алексеевна была не из тех натур, которые безропотно покоряются выпавшей на их долю участи. Она готова была с боя взять то, что принадлежало ей по праву человеческого существования, и взяла: человеческое превозмогло в ней царское. Она любила князя Голицына, даже и очутившись у власти, но эта любовь всегда оставалась тайною. Никогда ни Софья Алексеевна, ни Голицын никому не выставляли ее напоказ, хотя тайные помыслы честолюбивой царевны стремились к тому, чтобы создать такое положение, при котором ее любимец мог бы неразрывно быть связан с нею, царицею земли русской.

Князь Василий Васильевич тоже любил эту пылкую девушку; но он уже был женат, у него были дети, и никогда не тревожили его думы о престоле...

Этот представитель молодой Руси, этот щеголь-западник был честен. Для него существовали идеалы, до которых не доросли в то время многие бояре большого московского дворца; у него были принципы ненарушимые и, будучи "западником", он в то же время был убежденным монархистом и считал, что

единственным законным царем на московском престоле может быть только младший сын Тишайшего царя.

Покончив с историей, возвратимся снова к повествованию.

## XVI ВЕСТОЧКА ОТ МИЛОЙ

**Н**а пороге покоя бесшумно появился слуга и стал почтительно, совсем по-иностранному, ждать, чтобы господин заметил его.

— Что там еще? — вскользь обратился к нему Василий Васильевич.

— Из большого дворца, князь-государь, гонец к тебе пригнан, — с поклоном ответил слуга. — Тебя видеть желает.

— Хорошо, сейчас выйду! — и, махнув рукой, князь Василий отпустил слугу.

— Ну, вот, видишь, видишь? — торопливо и радостно заговорил князь Борис. — Ведь это она за тобой посылает. Верно прослышала государыня о том, что ты в отъезд собираешься, вот и шлет к тебе гонца.

— Пусть шлет, — сумрачно ответил князь

Василий. — Поздно спохватилась...

— Как поздно? Неужто ты не пойдешь?

Голицын отрицательно покачал головой.

— Погоди малость! — сказал он при этом, и поднявшись вышел из своего кабинета.

Князь Борис глядел ему вслед, пожимая плечами.

— Нет, видно, и он что-то задумал, — проговорил он. — Вот все-то они так. И умен наш Васенька, ох, как умен!.. И знаю я, что обойдет он царевну-то правительницу и она глазом моргнуть не успеет, как в его тенетах очутится, а все-таки не далеко его ума-то хватает. Что бы он там ни говорил, а тонко я его игру понимаю. Надумал он в бабью душу без мыла забраться, вот и играет со своей лапушкой, как кошка с мышкой. Добивается от нее своего, а того и не замечает, что она-то на престоле краденое недолговечна, ой-ой, как недолговечна! Не по дням, а по часам Петр-нарышкинец подымается!.. Проглядят они его — и останется верх-то не Васеньки братца, а мой. Ведь я около нарышкинца постоянно. В их дела как будто и носа не сую, живу вместе с опальным царем в Преображенском — нужно

же кому-нибудь из бояр и при его царском величестве оставаться — и хорошо мне: в стороне, покойно. Никто меня не тронет, и я сам никого не трогаю. Вокруг меня всякие бури носятся, стрельцы кипят-бурлят, а я-то на них гляжу да посмеиваюсь. Старайтесь, дескать, други любезные, грызите друг друга! Чем больше вы сами себя перегрызете, тем меньше вас для нарышкинца останется.

Он залился тихим, мелким смехом, потом, встав, подошел к окну и, отпахнув его, вдохнул чистый, ароматный воздух полной грудью.

Пред князем Борисом был хорошо знакомый ему сад, тенистый, плохо разделанный, густой настолько, что солнечные лучи не всегда пробивались сквозь листву его деревьев. Обширный это был сад; много было в нем всяких дорожек, тайных беседок, гротов, искусственных пещер. Отец Голицына много раз бывал на Западе, близко видывал тамошнюю жизнь, прельстился ею и одним из первых на Москве стал заводить всяческие свои порядки. Сад при доме разбивал иностранец, приглашенный специально для того из Ку-

куй-слободы, и в свое время чуть не вызвал всенародной гили, как "новшество, не соответствующее православию".

— Что? Нашим старым садом любуешься? — раздался голос князя Василия Голицына, и князю Борису показалось, что звучит он как-то особенно: не то великим удовольствием, не то гордостью, которую не смог скрыть на этот раз всегда владевший собой вельможа.

— И впрямь люблюсь, — ответил князь Борис. — Детство наше с тобой вспоминаю. Сколько раз мы тут игравали в ребяческие годы...

— И тузил же ты меня тогда! — весело смеясь, промолвил князь Василий. — Доставалось мне!..

— Да, было время, — в тон ему, ответил князь Борис. — Тогда-то Васенька, я тебя тузил, а теперь твоя очередь настала. Силен ты стал больно, хоть Хованского заломаешь.

Князь Борис говорил все это, зорко всматриваясь в лицо своего двоюродного брата, как бы стараясь прочесть на нем его сокровенные мысли. Но он только подметил, что Василий

Васильевич в эти мгновения находился в каком-то восторженном настроении: не то, чтобы он сиял, как говорится, от радости, но недавние морщины на его лице поразгладились, красивые, лучистые глаза смотрели весело, он даже улыбался как-то совсем по-особенному.

— Уж и Хованского сломать! — шутливо сказал он. — Ишь, чего тебе, Борисушка, захотелось!.. Не широко ли шагнул?

— Чего там широко? Такие звери, как Хованский да Милославские, нашему голицынского роду только и по плечу. С разной там остальной мелочью и возиться не стоит. Ну, что ты там, с гонцом-то?

Лицо князя Василия сразу приняло серьезное выражение.

— Правду ты говорил, — промолвил он. — Она, правительница, за мной присылала.

— Ну, и что ж ты? что? — заволновался князь Борис.

— Да, что? Сказал, времени не имею, а потому, чтобы и не ждала меня. Когда мне тут возиться с чужими делами, когда своих погорло? Этакий дом весь на выезд собрать; сра-

зу не соберешь, а на холопов полагаться нельзя. За всем своим хозяйским глазом приглядеть нужно. Не на день на выезд собираюсь.

— Так-таки и сказал царевне, что не придешь?

— Так и сказал.

На мгновение братья замолчали.

— Ой, Вася, высоко метишь! — тихо проговорил Борис. — Смотри, и в самом деле не сверзись!.. Неловко тебе тогда будет.

— Тебе-то что? — нахмурился князь Василий. — Не тебе сверзиться придется, а мне...

— Нам-то, Васенька, в Преображенском с чего сверзиться? Сам ты знаешь, на каком низу мы там. Ниже травы посажены вашими-то, так что больше и падать нам некуда. А ежели говорю тебе так, то по-родственному, по-братски. Вот наши былые ребячьи игры в этом саду припоминаются, — указал на открытое окно князь Борис. — Помнишь, как мы играли там? Играть-то, братанчик, играй, да смотри, как бы за что не зацепиться да носа в кровь не разбить!..

— Да ты что? — вдруг весь так и вспыхнул князь Василий. — Или пронюхал что-либо

твой лисий хвост?

Он с тревогой глядел на руку брата, указывавшую на сад, и эта тревога исчезла с его лица только тогда, когда рука князя Бориса опустилась.

— Эх, Васенька, — сказал тот, — ну чего мне пронюхивать? Глядим мы, нарышкинские мураши, снизу в милославскую высь, а там всякие нам виды кажутся, ну, вот и чудится разное. Вы-то в этой выси ничего не замечаете и ни о чем низком не думаете. Так уж ты меня прости, — отвесил он брату поясной поклон, — ежели что и не ладно сказал. А пронюхал-то я и в самом деле пронюхал. Напрасно сбираешься, братанчик, не уедешь ты из Москвы. А на сем слове прости, родной, желаю тебе всяческого успеха!

## XVII

### МЕЖДУ ЛЮБОВЬЮ И ДОЛГОМ

Тучка, набежавшая на лицо Голицына, так и осталась на нем, даже когда ушел князь Борис.

Оба двоюродные брата еще с детских дней очень любили друг друга и почти всегда были согласны во всем. Борис был старше годами и с ребячьих лет привык уступать тогда маленькому задорному братишке. С годами привычка не пропала, а, пожалуй, укрепилась, но вместе с нею осталось и некоторое покровительствование, выражавшееся, когда братья стали зрелыми мужчинами, в легкой, добродушной насмешке.

Пока жив был царь Алексей Михайлович, жизненные дороги братьев не расходились, но уже при царе Федоре они разделились и каждый пошел своим путем: князь Василий Васильевич остался на стороне Милославских и Софьи, князь Борис присоединился к Нарышкиным и царю Петру. Когда царь Петр, его мать и все близкие к нему люди были вы-

сланы из Москвы на житье в Преображенское, князь Борис последовал за высланным царем, пренебрегая всяческими опасностями. Он мог бы остаться в Москве — для этого достаточно было одного слова князя Василия Васильевича, — но наотрез отказался от этого, объясняя свой отказ привязанностью к царевичу Петру, тогда еще малолетку. В дворцовых кругах такое поведение двоюродного брата могущественного царедворца казалось удивительным. Всякий тогда думал, что все семейство Нарышкиных обречено было на гибель и быть при царе Петре значило как бы и самого себя приговорить к смерти. Не раз говорили об этом князю Борису его друзья, но он продолжал упорно стоять на своем и только загадочно улыбался, когда ему совсем недвусмысленно намекали, что, дескать, все Нарышкины в совсем недолгом времени будут стерты с лица земли так, что и "запах их, нарышкинского, не останется!"

— Слепой сказал: "посмотрим", глухой сказал: "послушаем!" — обыкновенно отвечал на такие намеки князь

Борис и сам первый же смеялся своим сло-

вам, как бы давая понять, что в этом случае и "слепым", и "глухим" он считает самого себя.

Однако князь Василий Васильевич знал, что его двоюродный брат вовсе не из тех людей, которые говорят и смеются на ветер. В душе он даже признавал превосходство князя Бориса над собой и нередко прибегал к его советам.

"И как это все они разнюхают, пронюхают! — с неудовольствием думал князь Василий Васильевич. — Откуда бы, кажется? Ан, нет!.. даже и то, что думаешь, они знают. Ежели один Борис, так это еще ничего: он — свой человек, болтать не будет! А что, ежели другие вот так же пронюхали?.. Ведь тогда борисово пророчество втуне останется: придется отъезжать. А как не хочется! Не бросить ли мне то, что я замыслил? Нет, никогда! Ежели есть козыри в руках, так нужно ими рисковать. У меня же всяких козырей достаточно: есть и большие, и малые".

— Да стоит ли? — вдруг словно шепнул князю Василию Васильевичу какой-то тайный голос, — не бросить ли все то? Из-за чего стараться? Жизнь так хороша: всего в ней до-

вольно, всего! У кого еще столько довольства, сколько у него, князя Василия? Кого страстно и пламенно любит царевна Софья, такая женщина, которая всем другим женщинам — король? Да ради одной ее любви огневой разве нельзя все на свете позабыть? Разлапушка любезная! стало быть, чего же еще добиваться, чего хотеть? Уйти разом от всей этой грязи, от интриг, от подкопов, забыть, что есть на свете и Милославские, и Хованские, жить своим счастьем, благо много его судьба ниспослала!

Князь Василий Васильевич присел к окну и задумался. Он переживал смутные мгновения. Томительные вопросы будоражили его душу и мозг.

"А что же, — мыслил он, — уйду я от всего и буду счастлив. Это верно, но буду счастлив только я один. А родина-то моя, а этот народ мне родимый? Он-то будет счастлив? Уже и теперь рвут его, несчастного, Милославские, Хованские и все прочее ненасытное коршунье, а кругом-то, кругом так и сторожат злые нахвальщики, когда изнеможет Русь в бедствиях окаянного грабительства. Турки, тата-

ры, ляхи, шведы так вот глаз и не спускают, так вот и готовы кинуться, как только приметят, что истощенный народ не в силах будет отшвырнуть прочь злую нахвальщину. Так разве не стоит Русь страдающая того, чтобы на нее поработать? Стоит, стоит! Немало впереди меня Голицыных, сколько их за родину головы положили! Им тоже умирать-то не хотелось, а они шли на смерть, о себе не думая. А что же я-то, потомок славных предков, другим путем пойду? Вот везде новые времена настали, жить по-прежнему нельзя, невозможно от соседей отставать. Нет отечеству врага злее того, кто дает соседям свой народ ограбить!.. Хуже Иуды-предателя такой враг, а Милославские да Хованские, за рубежом не бывавшие, тамошней жизни не выдавшие, об этом не думают. Вон что замыслил старый пес князь Иван! Да ежели ему преграды не поставить и дать хотя частички задуманного достигнуть, так погибнет Русь в раскольничьих лапах, и я сам повинен в том буду... Да, я! Все у меня в руках есть, чтобы беды избежать, а я о себе только думаю... Так не бывать этому! Лучше погибнуть, чем злым врагом для сво-

ей родины, для своего народа стать! Не сдам я в борьбе, не сдам, лучше голову сложу!"

— Э-эй, кто там? — хлопая в ладоши, закричал Василий Васильевич и, когда на зов прибежали слуги, произнес: — Собираться, живее, народу нагнать больше, чтобы так все и кипело!..

## XVIII

### НОЧЬ В САДУ

Все эти сборы продолжались до позднего вечера. Князь Василий Васильевич на этот раз принимал в них самое деятельное участие. Он чуть не сам помогал холопам укладываться, сам суетился, распоряжался, вообще проявлял усиленную деятельность, в которой, казалось бы, для него не было никакой необходимости. Когда уже начинало темнеть, он зашел в сад и здесь долго ходил с толпой холопов, указывая, какие статуи — а их в голицынском саду было порядочно — и как укладывать.

Уже смерклось, когда он, словно утомленный хлопотами, опустился на скамейку под

раскидистыми ветвями большого дерева и здесь так и застыл в позе, свидетельствующей о крайнем его утомлении.

— Идите прочь! — приказал он холопам. — Ужинайте, что ли, и ждите меня, пока я не приду.

Приказание не заставило ждать повторения, и князь Васлший Васильевич остался один среди благоухавшего сада. Так, не меняя позы, просидел он около получаса, а потом, медленно и лениво поднявшись, побрел по дорожкам, направляясь в глубь своего сада. Сделав несколько шагов вперед, он останавливался, чего-то переживал, оглядываясь во все стороны, и потом опять столь же тихо двигался вперед. Пред глухой чащей деревьев он приостановился, достал огниво и выбил слабый огонек. При свете его он взглянул на карманные часы-луковицу и, задув огонь, пошел уже быстрым шагом прямо через траву к одиноко стоявшей в глубине чащи небольшой беседке. Около приступки, заменявшей крыльцо в беседку, князь Василий приостановился, простоял с мгновение и, энергично махнув рукой, как бы отбрасывая в послед-

ний раз все свои сомнения, быстро вошел в беседку через едва притворенную дверь.

Едва только князь Василий перешагнул порог, как его шею обвили мягкие женские руки, и он услышал страстный женский лепет:

— Лапушка, что так долго мучиться меня заставил?

Голицын ответил не сразу. Минуту или две в тишине беседки раздавались звуки поцелуев и только в перерывах между ними слышался влюбленный лепет:

— Разлюбил ты меня, видно, коли покидаешь?

— Нет, Сонюшка, нет! — тихо, но пылко ответил князь Василий. — Не разлюбил я тебя и никогда не разлюблю. Не может того быть! Разве позволит мне такое, голубь, сердце? В могилу лягу, так и то любить тебя буду...

— С чего же уезжаешь?

— Так нужно, Сонюшка.

Голос Василия Васильевича звучал уже серьезно, в нем теперь слышались отзвуки горя и тоски. Обвив рукою стан любимой женщины — царевны Софьи Алексеевны, — он вме-

сте с нею подошел к большому венецианскому окну и отпахнул его. В беседку ворвалась тихая лунная летняя ночь. Серебрящий свет луны озарил обоих любовников, стоявших у окна, нежно прижимаясь друг к другу. Князь Василий слегка дрожал, чувствуя на своем плече чудную головку красавицы, прильнувшей к нему так, что, казалось, никакая сила не могла бы уже оторвать ее. Он нежно смотрел в милое лицо и, казалось, вот-вот слезы заблестят на его красивых глазах.

— Так нужно, Сонюшка, — повторил он.

— Почему так нужно? — забеспокоилась молодая женщина. — Или указка какая ни на есть над тобой со мной завелась? — гордо проговорила она.

— Указка над нами — судьба, ненаглядная! — тихо ответил Голицын. — Уж против нее-то ничего не поделаешь. Судьбе такая от Бога сила дана, что, хоть с рожном иди против нее, ни за что с своей дороги упрямой не своротишь.

Он посадил свою собеседницу на небольшой раскидной табурет, а сам стал, опираясь на подоконник, так что их лица приходились

почти вровень и обоих их озарял кроткий свет сиявшей на далеком небе луны.

— Пугаешь ты меня, князь Василий! — В свою очередь серьезно проговорила царица. — С чего это ты вдруг о судьбе заговорил? — не то насмешливо, не то сердито произнесла она. — Ведь оба-то мы — не простецы какие-нибудь, так что нам судьба? Как хотим, так ею и поворотим.

— Нет, Софьюшка, нет! Ты про себя одну говори, а меня уж оставь. Где мне не только против судьбы, а хотя бы и против людей идти?..

— Ну, заныл! — недовольно и с оттенком гневности воскликнула гостья. — Видно, все московские бояре на один лад. Как только что им нужно, так и заноят. Недостает того, чтобы и ты из-за лакомого куска словно чужеземный стриженный пес на задние лапки стал! Брось! Мне это и так уже надоело. Только тебя в моей боярской своре не доставало, а тут вот и ты налицо.

Слова царицы уже дышали гневным раздражением. Недавно еще столь нежная, вся полная любовной истомы, жаждавшая толь-

ко поцелуя, эта женщина вдруг изменилась. Прежнего настроения как не бывало; явилась сухая вдастность, сказалось презрение высшего к низшему.

Голицын вспыхнул. Он выпрямился во весь рост и подергивал плечами, как будто его давила какая-то тяжесть. Видимо слова этой властной женщины задели его за живое.

— Бог с тобой, Софьюшка! — промолвил он, видимо сдерживаясь. — Не тебе бы так говорить со мной. Нешто мало мы вот таких, как эта, ночек коротали вместе, мало, что ли, между нами слов ласковых сказано, клятв страшных друг другу дано?.. Не тебе меня заискиванием корить. Припомни-ка, просил ли я у тебя какой-нибудь милости, кроме любви твоей? Добивался ли я через тебя когда-нибудь чего-либо у твоего батюшки, затем у твоего брата-царя покойного, а теперь у тебя самой? О-го! Что мне нужно на белом свете. Разве я — не Голицын? Всего у меня достаточно и было, и будет, да кроме того еще одна драгоценность самая лучшая в мире есть!.. Это — ты, Софья, слышишь? Ты — Софья! Но только, как бы я ни любил тебя — жизнь я за тебя от-

дам, кровь каплю за каплей выточить позволю, — словно вдруг охваченный порывом, громко, слово за словом, беспорядочно выкрикнул князь, — а того вовек я не забуду, что мужчина я, и Голицын притом. Да, не забуду. Вот прикажи меня сейчас в застенок отправить, повели катам так меня истязать, чтобы, глядя на меня, дьяволы в аду слезами от жалости залились, — а не пикну я и умру, тебя благословляя. Умирая буду твое имечко лепетать, а делиться тобой, делиться твоей любовью с кем бы то ни стало, хотя бы самым архангелом Гавриилом, не стану! Не на то я тебя люблю, не на то я душу тебе в полон отдал; не на то я — мужчина, и еще Голицын к тому же.

— Бог с тобой, Васенька! Что ты такое придумал? — уже совсем другим тоном, видимо пораженная словами своего возлюбленного, промолвила царевна. — О чем ты говоришь — не ведаю. Кажись, и ты на мою любовь пожаловаться не можешь. Уж я ли тебя, касатика, не любила? Я ли тебе всегда верною не была? Не я тебя, а ты меня чем-то неведомым корить хочешь. Скажи на милость, с чего ты сердце мое бедное терзать вздумал.

— Как с чего? — мрачно выговорил князь Василий. — Или ты отпираться станешь, что князя Хованского Ивашки, Тараруя проклятого, ты женою стать задумала?

## XIX

### ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ

Последние слова князь Василий Васильевич почти выкрикнул, и замолчал, как будто выжидая, чтобы этот внезапно раздавшийся гром произвел свое впечатление. Так оно и было.

Несколько мгновений в беседке царило молчание. Собеседница Голицына очевидно была, действительно, поражена его обвинением.

— Уж и не знаю, о чем ты говоришь, Васенька! — проговорила она заметно дрожащим голосом. — С чего ты окаянного Тараруя приплел? Будто не знаешь ты сам, что ненавижу я его, как злого врага, и глаза мои на него не смотрели бы. Скажи на милость, откуда ты это взял? Да ведь и старик — он, Тараруй-то, сивый пес, и, какую он жизнь ведет,

мне тоже ведомо. Так неужто я тебя, моего сокола быстролетного, на него променяю? Да скажи же ты мне, наконец, откуда ты эту такую несурязицу взял?

— Вся Москва о том говорит, — сумрачно произнес князь Василий.

— Вся! — расхохоталась молодая женщина. — А я вот на Москве тоже живу с рождения, а эту такую новость впервые от тебя сейчас услышала.

— Оставь, Софья, — серьезно и с раздражением проговорил Голицын, — ведь мы с тобой — не дети малые, чтобы в прятки играть. Ежели говорю я, так, стало быть, знаю, что говорю дело. И Москва о твоём замужестве болтает, и Тараруй им похваляется.

— А я тебе говорю, — перебила его Софья, — что я о сем деле и слыхом не слыхала, и думать никогда не думала. Ненавижу я Тараруя, смутьяна проклятого. Велика у него сила: всеми стрелецкими душами овладел он, пес негодный. Недоумков да малых ребят на царский престол сажает, а вот моей воли ему никогда не сломить, даром, что я — девка, а не муж доблестный... Никогда!.. Слышишь,

Вася? Никогда! Ты вон давеча про застенок говорил, а теперь я скажу. Пусть я хоть в запристенок попаду, пусть я хоть всем ангелам бевсовским в лапы брошена буду, а Тарарую меня своей женой не видать. Ежели он о таком деле заикнуться посмеет, так прежде всего кубарем из моих покоев вылетит — я хоть и девка, а рука у меня мужской потяжелее. А потом он сам с сынишкой своим мерзким в застенке очутится. Пусть стрельцы, как хотят, мнутятся, пусть хоть все царство кровью зальют и в ней его утопят, а перемены моей воли не будет. Понимаешь ты это, Вася? Я говорю тебе и на том клянусь пред тобой. Уж мне-то, думается, ты поверить можешь.

— Верю я, верю, касаточка ты моя, — со страстным воплем вырвалось у Голицына, — а только все же в сердце моем смуты хоть отбавляй. Ночей не спал я сколько, все думал, как мне тут быть.

— Вот глупый-то! — весело засмеялась молодая женщина. — Ты и Тараруй. Да о чем тут и думать-то? Плюнул бы на сплетни московские, вот и все.

— Ах, Софьюшка, — проговорил Голи-

цын, — да нешто такие-то, как ты, о любви думают? Коли нужно — так не то, что за Тараруя, а за старого козла замуж пойдешь. Твои же Милославские тебя к тому принудят.

Молодая женщина засмеялась в ответ на эти слова. Ее смех был громкий, несколько неприятный, но в нем слышалась искренность.

— Брось ты все думать, Вася! — опять проговорила она. — Даром и себя, и меня терзаешь. Что ж, ты из-за этого, что ли, в отъезд собрался?

— Из-за этого, Софьюшка, из-за этого. Думал я все одно и то же в ночи бессонные и надумал, что иного и быть не может. Приказывать я тебе не могу, не смею: что там ни говори, как ты меня ни люби, а все же я — подвластный. Сейчас вот люб, а завтра скажешь слово — и голову с плеч.

— Твою-то, Васенька?

— А что ж? Мало, что ли, голов пред тобой-то склоняется?..

— Да такой, как твоя, другой нет, — раздалось страстное восклицание, и опять руки гости нежно обняли шею молодого князя, и

опять раздалились страстные поцелуи. — Ну, говори же, говори дальше, что такое ты, глупенький, надумал в бессонные ночи твои? — пролепетала молодая женщина. — Ну, приказать ты мне не смеешь, а дальше-то что?

— А переносить то, что ты женой другого станешь, да еще такого, как проклятый Тараруй, я не в силах. Вот и решил я отъехать на чужбину.

— На чужбину? — задрожал испуг в голосе молодой женщины. — Куда же ты это надумал отъехать, Васенька? Уж не к польскому ли королю?

— Думал я в город Париж ехать. Уж там-то мои недруги меня не достали бы. Там, может, скорее успокоилось бы мое сердце.

— Позабыл бы ты там меня, Васенька. Немало ведь у французского короля красавиц...

— Ой, нет, оставь. И там бы я страдать по тебе стал, — воскликнул князь Василий, — а только не на глазах моих ты была бы с Тараруем. Не стал бы я ему, окаянному, век слушать!..

— И не будешь! — пылко воскликнула Софья. — Уж ежели на то пошло, так живо я эту

сивую дурацкую голову с обмызганных плеч уберу! — В молодом, звучном голосе царевны звучал такой яростный гнев, что даже он, знавший всю неукротимость и пылкость ее природы, назад отступил, инстинктивно хватаясь руками за свою собственную шею. — Ну говори ты, Василий, теперь! Какие там толки на Москве? Что говорят?

— Говорят, — забормотал Голицын смущенно, — что тут скоро крестный ход будет, а за ним — цари шествовать должны. Окаянные же стрельцы гиль подымут и, якобы оберегая царей от Милославских, под свой караул их возьмут. Вот что говорят.

— А еще что? — гордо и грозно спросила правительница. — Договаривай, Василий!

— А еще говорят, что вскоре после того оба царя волею Божию преставятся и останешься ты одна. Тебе же, девке, на престоле не хорошо быть, а посему и заставят тебя в замужество с князем Ивашкой вступить. И будут у нас на царстве не Романовы, а Хованские. Вот что говорят! На тот же случай, ежели у Хованского от тебя приплода не будет, так он своего Андрюшку негодного на одной из сестриц

твоих женит и в смертный час ему царство передаст.

— Ха-ха-ха! — дико расхохоталась молодая женщина. — Вон уже куда у них зашло! Тараруй уже о царском наследии думает. Больно уж он на своих стрельцов-то надеется!

— Не одни стрельцы за ним пойдут, — тихо, уже страшась вскипавшего и вскипавшего гнева своей гостью, промолвил Голицын, — И раскольники за ним, за Тараруем, пойдут.

— Пустосвяты-то? Ну, пусть их, пусть их, пусть их идут! — в диком озлоблении выкрикнула царевна. — Пусть больше куча собирается! По малости и бить их не стоит; сразу бы всех их, русской земли вредителей, с лица ее смыть... А тебе, князь Василий, я вот что скажу: нечего отъезжать тебе ни на чужбину, ни просто с Москвы; твоя голова мне здесь нужна. Ха-ха-ха! Посмотришь, по крайности, что будет князь Хованский в свой смертный час отказывать.

## ПОСЛЕ НОЧНОГО СВИДАНИЯ

Любовное и в то же время деловое свидание в далекой беседке голицинского сада окончилось лишь тогда, когда уже забрезжила алая утренняя заря.

Тихо выскользнула плотно укутанная женская фигура через потайную калитку в стене сада на безмолвный пустырь, прилегавший к голицынским владениям. Там возвращавшуюся домой гостью поджидал легкий тарантас. В нем прикорнула, забывшись дремотою, также плотно закутанная женщина. При появлении возвратившейся царевны эта женщина разом проснулась, засуетилась, помогла ей взобраться на сиденье, и тотчас вслед затем дребезжанье колес прозаически завершило полную поэзии ночь любви.

Князь Василий Васильевич, словно очарованный, стоял у открытой потайной калитки все время, пока слышался стук колес. Блаженством сияло его лицо, неизъяснимыми восторгами горела его душа. Он был весь полон

дивного счастья. Для него вновь разгорелась чудная заря воскресавшей любви.

— Пришла! — шептал он. — Сама пришла, хотя и потайно!.. Значит, и впрямь она любит меня, любит, любит! Не мимолетная забава я для нее, а сердцем она меня любит... Лапушка ненаглядная!.. А уж как я-то ее люблю. Пуще света белого... Ничего от нее не хочу я, ничего, только сама она мила и дорога сердцу моему. Жена? Что мне жена моя неведомая?.. Эх, батюшка покойный, не зла ты мне желал, окручивая меня по рукам и по ногам, а вот и вышло, что худо мне от твоего добра приключилось.

Искренен ли был князь Василий Васильевич? Такова ли была его любовь к могущественной женщине? Скорее да, чем нет. Он, действительно, владел в жизни всем, что было доступно человеку в его положении, и мог любить бескорыстно.

Князь Василий Васильевич был умница, каких было немного и за рубежом! Да, что рубеж! И Париж, и Лондон, и все вообще столицы того времени вовсе не были в чем-либо выше Москвы. Только там люди жили внеш-

не несколько по-иному, другой уклад жизни был, и только... Дичь была в народе такая же, как в России, высшие классы-развратители были также. Допетровская Русь ни в чем не уступала при первых Романовых своим соседям. Прогресс развивался в ней правильно, но самобытно; государство было органически здорово и только катастрофы, терзавшие его с самого начала XVIII века, внесли в могучий организм России тяжкие недуги. Нужна была нелепая ломка всего государственного строя, всего бытового уклада, чтобы поставить московское государство в хвост других народов Европы. Но тут действовали уже не человеческие силы, а несчастная судьба...

Идя вровень со своими зарубежными соседями, а в некоторых отношениях будучи и выше их, московское государство имело своих выдающихся людей, таких государственных деятелей, которые на Западе были бы признаны великими умами.

Именно к таким людям принадлежал и князь Василий Васильевич Голицын.

Прекрасно образованный, всесторонне просвещенный, знавший зарубежную жизнь

не по одной только наслышке, этот человек как бы самой судьбой был предназначен к тому, чтобы стать у кормила правления московского государства. Он был богат и знатен и, действительно, не нуждался ни в чем; добиваться для себя чего-либо от жизни у него тоже не было необходимости: он все имел. В то же время это был искренний патриот и его патриотизм был не узкий, не невежественный, а широко просвещенный. Голицын искренне желал добра и процветания своему отечеству, своему народу, но никогда не закрывал глаз на недостатки строя. Он видел, что нехорошо в государственном организме его родины и что в этом же отношении хорошо у соседей, и не постеснялся бы пересаживать чужое хорошее на отечественную почву. Если не все, то многие наиболее разумные реформы великого царя-сокрушителя — Петра Алексеевича — были лишь продолжением голицынских мероприятий, так сказать, родились от его, князя Василия Васильевича, инициативы. Посылка юношей-дворян для обучения за границу — была задумана Голицыным. Он же проектировал и освобождение кре-

стыян от крепостной зависимости, в то время отнюдь не бывшей позорным рабством; он же задумывал дать народу и религиозную свободу, идя навстречу желаниям той части русских людей, которая была известна под именем "раскольников". Голицын был другом народного просвещения, да не внешнего, поверхностного, показного, а истинного. Но и на нем оправдались сказанные много спустя после него слова поэта: "Суждены нам благие порывы, а свершить ничего не дано!".

Голицын был русским человеком, и его судьба была русская, очень печальная, приведшая его вместо храма бессмертия и славы в ледяные тундры дальнего севера.

## XXI

### НА БАЗАРЕ

На другой день вся Москва говорила о том, что князь Василий Васильевич отменил свой отъезд. Одни этому радовались, другие же ехидно посмеивались.

— Ну, да, как же, уедет он! — говорили эти последние. — Нешто может улететь воробей из-под орлицына крылышка?

Впрочем таких злобствующих было не слишком много. Большинство москвичей, особенно простонародье, любило всегда приветливого, всегда ласкового князя Голицына и любовь к нему царевны-правительницы никого особенно не смущала, тем более что ни сама Софья Алексеевна, ни князь Василий Васильевич никогда не выказывали своей близости на людях и о том, что они любили друг друга, знали разве только одни ночки темные.

Однако никто не понимал и не догадывался, что значили и неожиданные спешные сборы, и такая же неожиданная отмена отъезда.

О ночном свидании в садовой беседке, конечно, никому не было известно.

На другое утро Василия Васильевича разбудило довольно рано присланное из дворца от царевны письмо. Прочитав его, Василий Васильевич весело улыбнулся.

"Свет ты мой, Васенька, — написала царевна-правительница. — Буду ждать тебя о полдень по некоему делу государскому. А к тому времени помоги ты мне в одном моем деле, которое весьма важным для нас обоих быть может. Подумай ты мне о таком человеке, который бы никому на Москве ведом не был, только тебе одному; и должна быть у этого человека душа, на верную службу неукротимая, чтобы положиться на него во всем можно было, и сердце спокойное, и чтобы голову свою он не боялся потерять на нашей службе. Когда ты придумаешь такого человека, то скажи мне о нем. Премного я его возвышу, если он надобные нам службы верно сослужит".

Под письмом, как и всегда, выведено было крупными латинскими буквами имя царевны.

"Нелегкую задает мне задачу Софьюшка! —

подумал князь Василий Васильевич. — И нелегко бы мне было исполнить ее, если бы не был такой человек у меня под рукою. Думается, что ужоу я им свет-царевне ненаглядной. Только на что он ей понадобился? Какой такой службы она от него потребует?"

Весело и легко встал со своей постели князь Василий Васильевич; хотя и мало спал он в эту ночь, но не чувствовал никакого утомления. словно солнце небесное улыбалось ему. Давно он не чувствовал себя так покойно, как в эти мгновения.

Напившись ароматного сбитня, князь выехал из своего дворца в сопровождении двух вершников-холопов. Один из этих последних вез с собою большую кису, битком набитую мелкими медными деньгами. Так обыкновенно выезжал князь Голицын тогда, когда хотел побывать в людных местах. И теперь он отправился на одну из площадей пред кремлем. Как и всегда, площадь в утренние часы кишела народом. словно живое море пред князем Василием волновалось, когда он спускался к берегу Москвы-реки. День был не праздничный, но базарный; всякого народа в такие

дни собиралось на всей вообще площади видимо-невидимо, всякого люда было много. Одни торговали с возов, лотков и прямо с рук всякой-всячиной, другие покупали. Базарные парикмахеры то там, то сям стригли "под горшок" своих неприхотливых клиентов, а последних было столь много, что местами площадь сплошь была устлана мягким ковром из волос. Кое-где видны были продавцы навезенных из-за рубежа эстампов — этот товар в Москве, несмотря на дорогую цену, шел довольно ходко; были и продавцы книг, по большей части духовного содержания. Кое-где сидели прямо на земле слепцы, калеки, уроды, тянувшие заунывными голосами разные стихи. Между народом толкались стрельцы, тоже и продававшие, и покупавшие; кое-где затевались обычные в базарные дни драки и потасовки, и над всем этим живым морем стоял непрестанный веселый гомон людских голосов.

— Дорогу боярину князю Василию Васильевичу Голицыну, — выкрикивал ехавший впереди вершник, и шумевшая толпа, только слышав имя любимого вельможи, расступа-

лась пред князем.

Справа и слева летели в нее полные пригоршни денег и везде, где только замечали этот поезд, долго не смолкали крики:

— Здрав буди на многие лета князь Василий Васильевич!

Голицын приветливо и добро улыбался. Он знал, что в Москве его любят, и всячески старался подогреть эту любовь мелкими подачками. Но он вовсе не искал популярности, ему просто нравилось чувствовать себя любимым. Ему приятны были эти обращенные к нему восторги многих сотен людей, а теперь, в это счастливое и радостное утро, ему хотелось, чтобы вместе с ним было как можно больше счастливых людей.

Однако, улыбаясь и кланяясь, он тем не менее зорко поглядывал вокруг себя, как бы отыскивая глазами кого-то, особенно нужного ему. Вдруг его взор остановился на молодом красивом подьячем, горделиво подбоченившемся и стоявшем так молодцевато, что его сразу можно было заметить среди обычной базарной толпы.

— А, Федя, Федя! — весело крикнул Голи-

цын, направляя к нему своего коня. — Вон ты где? Тебя-то мне и нужно!

— Здрав буди, боярин! — почтительно, но отнюдь не подобострастно поклонился ему молодой красавец. — Всею душою рад, ежели понадобится тебе. Приказывай, послужу.

— Ну, Федя, до службы еще далеко, — усмехнулся Голицын. — Прежде чем за службу приниматься, поговорить нам надобно.

— И на том рад, боярин. Говори, буду слушать и на ус мотать. Небось все о том же колоднике, что в мои руки попался, речь поведешь?

— И о нем, Федя, а покамест прежде всего о тебе. Слышь-ка ты приди ко мне хоть сейчас, да приди так, чтобы ни одна живая душа о том не знала. Вы, подьячие, на такие ходы мастера немалые, не мне тебя учить.

— Вестимо так, князь дорогой, — с добродушной усмешкой поглядел на Голицына подьячий. — Ладно, пойду я к тебе. А ты-то скоро будешь?

— Сейчас вслед за тобой коня вертаю...

— Ну, тогда я побегу, встретимся. Ты ведь на прогулку только выехал, княже?

— На прогулку, на прогулку Федя.

Они расстались.

Кругом них во время их разговора уже собралась толпа любопытных, слушавших разиня рот, что говорили эти двое людей, совершенно различных по своему общественному положению.

— Ишь ты, — неся шепотом, — не горделив Васенька-то князь! С Федькой Шакловичем как со своим братом-боярином разговаривает и пересмеивается даже.

— О чем говорили-то они?

— Кто их там знает? О чем-то мудреном. Ишь ведь как Федор Леонтьевич-то припустился!

— Видно, дело какое ему боярин дал.

А в это время князь Голицын, повернув коня, уже направлялся назад к своему дворцу.

## ПРИМЕЧЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК

Невелика была сошка — подьячий стрелецкого приказа Федор Леонтьевич Шакловитый, а всякий на Москве знал и побаивался его. Был он, как говорили о нем, "птичка-невеличка, а ноготок востер", хоть и гулливый молодец, а своего дела такая умница, что в других приказах такого подьячего и не сыскать бы. Был он не только смекалист по своему подьячему делу, но и умен к тому, и всяческим книжным премудростям обучен, а сверх того всегда ловок, смел и в карман за словом лазать не любил.

Таков был этот добрый молодец, которого при всем честном народе приветил ласковый князь Василий Васильевич.

Когда князь вернулся домой, Шакловитый уже ждал его.

Князь приказал ему идти в дальнюю горенку своего обширного дома, а сам приказал слугам, чтобы ни единая душа близко не подходила, даже распорядился, чтобы на караул

холопа с саблей поставили, и только тогда прошел сам к своему гостю.

— Прежде всего, Федя, — ласково заговорил он, — спасибо тебе за твои вести. Присядь-ка, милый, вон табуретка! — движением руки указал он Шакловитому место, делая вид, что вовсе не замечает его смущения.

Шустрый обыкновенно подьячий на этот раз действительно растерялся от такого приглашения.

— Ничего, княже, — смущенно пробормотал он, — невелика я персона, и постоять могу...

— Садись, садись, милый, — внушительно промолвил Голицын, — чиниться в приказе должно, а ежели ты в гостях у меня, так милости просим, гостю почет подобает всякий. Бывал я в разных зарубежных странах, так там друг пред другом никто не чинится...

— Так-то так, княже, — как-то особенно усмехнулся Шакловитый, — а у нас, на Москве, разве можно? Узнал бы Хованский князь, что пред тобою сидеть я осмелился, он мне все жилы повымотал бы...

— Ну, авось, Бог даст, ничего не узнает

князь Иван Андреевич, — добродушно засмеялся Василий Васильевич. — Не чинись же, друг, садись, я тебя о том прошу.

— Твоя воля, княже, ты приказываешь! — пробормотал Шакловитый и сел.

Голицын спокойно, но пристально, словно изучая его, смотрел ему в глаза, а затем начал:

— Я сказал уже тебе "спасибо" за твои вести, ну-ка, доложи мне теперь, что твой колодник все еще не признается, кто он такой?..

— Нет, говорить не хочет, молчит, как дыба в застенке... Только напрасно он... Я уже признал, кто он такой.

— Неужто? Кто же?

— Про князей Агадар-Ковранских слышал поди? Так тезка он твой — князь Василий Лукич... Или не слыхивал?

Голицын наморщил лоб, стараясь припомнить что-либо об этом княжеском роде.

— Словно бы и слыхал, — сказал он, — при блаженной памяти царе Федоре слух пошел, будто он ляхского монаха-иезуита зарезал...

— Вот-вот, он самый, — подтвердил Шакловитый. — Сыскали его тогда, да он неведо-

мо куда скрылся... Так и не нашли! Именьишко его за государя взяли, а он как в воду канул, вон когда только объявился... да и то! — и не договорив, Шакловитый махнул рукой.

— Ну-ка, Федя, — мягко ободрил его князь Василий Васильевич, — скажи-ка мне поподробнее, как он попал к тебе... С татями большедорожными, говоришь, взяли-то его?

— С ними, князь, с ними... Волокли они его куда-то и на отряд стрельцов нарвались, ну, их и сцапали. Отряд-то на дороге был выставлен, чтобы князя Ивана Андреевича беречь, и был поставлен в засаде... Ну, и схватили их тут... Разбойные люди были-то, опознали их на заезжем дворе; хозяин опознал, хотя и перепорчены были их лики, так что живого места не оставалось...

— Перебили их? — тихо спросил Голицын.

— Насмерть всех... Уцелел князь Василий Лукич, и то потому только, что спутан был и видно было, что у разбойных людей в плену он. После сам князь Иван Андреевич спрашивал, кто он да как с татями очутился. Не робкого десятка молодец, зуб за зуб с ним шел, прямо в глаза смеялся, огрызался-то как! — и

глаза Шакловитого даже заблестели от удовольствия при одном только воспоминании о допросе Агадар-Ковранского.

— А князь Иван что? — тихо спросил Голицын.

— Злился Тараруй, сопел, кряхтел, кричал, грозил... Все спрашивал, где князь Василий Лукич был, не сидел ли он в заезжем доме, когда он там был, только ничего не добился, ничего тот ему не сказал. Тараруй приказал его в свой погреб бросить и караул верный приставить, чтобы никто к узнику пробраться не мог...

— Тебе приказали? — быстро спросил Голицын.

— Мне. А как вылучилась минутка да остались мы с ним с глаза на глаз, князь Василий Лукич засмеялся и говорит... Ты уже, княже, прости, не свои слова я сейчас вымолвлю...

— Говори, все говори без утайки...

— Ну, так вот и говорит он: "Молод ты, парень, а видно, что смелый. Так беги к князю Василию Васильевичу Голицыну и посмейся ему от меня: скажи ему, что, мол, его любушка ненаглядная за Тараруя скоро замуж вый-

дет... Им уже брачные венцы куют... Тараруй царем захотел стать... А князь Голицын пусть крестного хода в августе боится".

— Так, так, — задумчиво промолвил Василий Васильевич, — ну, и дела же! Больше-то ничего не говорил?

— Ничего, княже, хуже всего то, что не попасть мне теперь к узнику, — князь Иван Андреевич строжайше запретил пускать меня к нему. Вот тебе все я сказал, больше ничего не знаю.

## XXIII

### НА ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ

Князь Голицын бесстрастно выслушал это сообщение, задевавшее его лично. На его лице словно маска была надета. Глаза, еще недавно ласково смотревшие, теперь как в сталь одели свои взоры.

— Так, так! — проговорил он. — А что, Федор, узник жив?

— Полагаю, княже, что жив, — было ответом, — постоянно вижу, как ему пропитание носят и сам князь Иван Андреевич, нет-нет,

да и спустится в погреб. По-моему, князь дорогой, выходит так, что побаивается Тараруй князя-то Агадар-Ковранского.

— Чего ему бояться-то? — вздохнул Голицын. — Кабы боялся, так давно бы извел.

— За этим у Тараруя дело не станет, да, видно, нельзя извести-то. Вишь ты, разбойничал князь-то Василий Лукич... Слыхал ты, по-ди, про шайку головорезов, что на большой дороге засела и обозы купецкие грабила? Много их, таких-то шаек, развелось, а эта отчаяннее их всех была. Так вот князь Агадар-Ковранский этой шайкой и атаманствовал.

Голицын поморщился.

— И это прознал! — сказал он.

— Все как есть, князь милостивый! — весело ответил Шакловитый. — Знаю я про все, пожалуй больше, чем Тараруй знает; купецкого приказчика Петра я разыскал, так он мне все рассказал. И знаешь, княже, повели ты мне еще сказать то, что я думаю...

— Говори, Федя, — ласково сказал Голицын, — говори все, что на душе есть... Ничего не бойся!

— Опять смуту Тараруй затевает — это верно узник-то мне сказал. С раскольниками он столкнулся... может, и впрямь задумал царем сесть... Со стрельцами он медовые разговоры ведет, для стрелецких голов пиროваньица по-тайно устраивает. Только на Москву и московский сброд не надеется он; ведь в Москве-то ежели подлый народ и пойдет за ним, так тогда лишь, когда смута разожжена будет. Пойдет, чтобы богатеев пограбить. Вот и нужно Тарарую, чтобы кто-нибудь новый смуту разжег. Тут ему от князя Агадара большая помога быть может. Знает князь Иван Андреевич, что князь Василий Лукич у большедорожных татей атаманствует, вот и думает, что придет он со своей шайкой на Москву и гиль почнет, а там раскольники подстанут, а на покрышку всего стрельцы явятся. Только ошибается он! Того он не ведает, что я знаю... У князя-то атамана с его шайкой распря вышла, мне и это приказчик Петруха поведал... Теперь-то князь Василий Лукич все равно, как перст один.

Пока он говорил, князь Василий Васильевич уже закурил трубку с длинным чубуком,

и ароматный дым стал расстилаться по небольшому покойчику.

— Поглядели бы, княже ласковый, — весело засмеялся Шакловитый, — те, кто на Москве в старой вере остался...

— Что бы тогда было? — остановился против него Голицын.

— Расчихались бы! — совершенно неожиданно dokonчил подьячий, не желая сказать то, что вертелось у него на языке.

Но Голицын понял, чего не досказывал Шакловитый.

— Вот то-то и есть! — заговорил он, словно обращаясь к самому себе. — Гиль устроить, государство великое потрясти — это не грех, а на такое дело, как куренье, все оглядят и все незамолимым грехом считают.

— Не все, княже, — перебил его Шакловитый, — такое теперь пошло, что разве одни младенцы-сосунки табаком не дымят. Из Кукуя табачного зелья, сколько хочешь, добыть можно и добывают...

Голицын рассеянно слушал, что говорит Федор Шакловитый.

— Опять смута, опять никому ненужная

борьба, — говорил он, — а тут столько дела, столько великого государева дела! Ведь если бы выполнить его, всем бы, даже смутьянам самим, лучше жилось бы! Нет, не должен я уходить. Я должен порадеть о Руси православной, только для того и дано мне от Господа все. Кому еще радеть кроме меня? Некому! Всякий только о себе думает, а о государстве страдающем и мысли ни у кого нет... Федор!

— Что прикажешь, боярин-князь? — быстро вскочив с табурета, спросил Шакловитый.

Голицын подошел к нему, положил ему на плечо руку и несколько мгновений в упор смотрел ему в глаза. Шакловитый, выдерживая этот упорный взгляд, не потуплял своего взора.

— Федор, — заговорил наконец Голицын, голосом, так и лившимся в душу, — страдает наше великое царство, Русь наша родимая страдает... Не дают нашему народу покоя злые вороги, а враги-нахвалящики стерегут наши беды, чтобы, вылучив пору, голыми руками нас забрать... И те вороги, которые внутри куда злее, чем те, что снаружи. Те далеко, а эти близко, вот тут, везде. С ними нужно бо-

роться, не щадя живота своего... А кому бороться? Где люди? Их нет! Цари-малолетки, царевна-правительница... Да под силу ли ей бремя, под которым и Тишайший порой гнулся? Тогда оно будет под силу, когда она около себя преданных людей соберет, таких преданных, чтобы живота своего не щадили ради ее государского дела, чтобы и на розыске под пытками ее врагов не выдали. Федф, тебя я заметил в такие люди царевнины. Хочешь, не ей, а Руси православной послужить, ни на какое жалованье не зарясь?.. Опасна служба, голова с плеч слететь может, но все-таки тебя спрашиваю, хочешь послужить, Федор?

— Хочу, княже! — восторженно воскликнул Шакловитый, и на его глазах заблестели слезы.

## ТАРАРУЕВ УЗНИК

Федор Шакловитый ничего не утаил, рассказывая князю Голицыну про пленника князя Хованского.

Агадар-Ковранский, действительно, оказался в руках стрелецкого батьки и сидел, запертый в одном из погребов его московского дома.

Князь Иван Андреевич и в самом деле боялся передать его в судный приказ. Он все еще не мог уяснить себе, как мог этот неведомый ему человек очутиться столь близко от заезжего дома, где произошла его встреча с раскольничьим посланцем, и беспокоился, не была ли подслушана им их беседа.

У князя Хованского было тоже немало дошлых людей, преданных ему за его "ласку", за подачки, на которые Тараруй был щедр всегда, когда ему нужно было чего-нибудь добиться. Ему скоро стало известно, кто такой его пленник, и эти сведения в самом деле окрылили его. Шакловитый был прав, когда

высказывал предположение, что Тараруй хочет ввести в затеваемую им смуту новый элемент, доселе отсутствовавший, а именно: "народ". Но вместе с тем подьячий ошибался относительно того, на что это было нужно князю Хованскому. Тараруй просто рассчитал, что если бы смута не удалась, то ее возникновение всегда можно было бы свалить на "злых людей" — на татей большедорожных, и таким путем даже и при неудаче сухим и чистым из мутной воды выйти.

Однако, князь Иван Андреевич Хованский при всей своей дерзости, при всем своем несомненном уме, не был психологом. Хотя у него были на руках подробнейшие справки об Агадар-Ковранском, он не понял существа этой неукротимой природы и при своих начальных переговорах прибег к обычной своей тактике: к запугиванию, то есть к тому, что как раз несколько не действовало на князя Василия Лукича. Чем больше он грозил своему пленнику, тем злее тот над ним надсмехался, тем громче хохотал над ним.

Злобный, мстительный Тараруй терял голову, не только не зная, что ему делать, но не

понимая, в какую игру затеял играть с ним пленник... Князь Агадар-Ковранский своими дерзостями и пылкими наскоками, положительно, сбивал его с толку.

— А-а, воронья снесь, — рычал князь Василий Лукич на Тараруя, когда тот, явившись к нему в погреб, заявил, что ему все известно: и кто такой его пленник, и какие за ним провинности числятся, — прознали-таки?.. Ну, да мне все равно! Знайте, знайте! По крайней мере на виселице умными казаться будете.

Свои слова он сопровождал злобным, гоголющим смехом, всегда смущавшим Тараруя. Князь Хованский привык, чтобы люди, к своему несчастью попадавшие в его руки, унижались пред ним, ползали у его ног на коленях, умоляли его о пощаде... О, с ними Тараруй знал, как себя вести! С ними, с этими жалкими червями, он был надменен, дерзок, беспощаден, но тут, слыша сам обиды и дерзости, он терялся и невольно притихал.

— Полно тебе, князь Василий Лукич, грозить-то, — ответил он на дерзкую выходку Агадар-Ковранского, — не страшна твоя гроза в погребе-то! — и прибавил, желая смутить

узника: — ты вот лучше скажи мне, как ты разбойничал-то?

— Ежели с московскими боярами сравнивать, — загрохотал злобным хохотом Василий Лукич, — так я, разбойник больше дорожный, кротким агнцем был! Мы, разбойные люди, — телята кроткие, а волки-стервятники — вы, бояре... И за что только и нас, и вас одним и тем же жалуют: двумя столбами с перекладиной?

Опять этот сарказм смутил Хованского, смутил до того, что он даже не знал, что ответить. Ему все казалось, что человек, попавший в его полную власть, не мог бы говорить так, если бы не чувствовал за собой чьей-либо поддержки, обеспечивавшей ему полную безопасность.

— А ну тебя, князь! — беспомощно махнул рукой Тараруй. — Тебя верно и не переговоришь... Тебе слово скажешь, а ты в ответ десять... Давай лучше по-хорошему...

— Давай по-хорошему! — согласился Агадар-Ковранский. — Да и чего нам в добре не быть? Ведь одинакие мы: ты — боярин именитый, а я — разбойник придорожный, одно-

го, значит, поля ягода...

— Полно, — перебил его Тараруй, — надо-ел!.. Ну, одинакие, так одинакие, одного поля ягода, так одного, — цинично признался он, — ежели так, то и помнить мы должны: слышал, поди, рука руку моет?..

— Слышал... Что же из того?

— А вот что. Хочешь этот погреб на хоро-мы сменить? Хочешь, чтобы все твои художе-ства навсегда забыты были? Хочешь, чтобы все твое именьишко, за государя взятое, назад к тебе пошло? Мало этого, хочешь важным боярином стать... думским, что ли? Оно и ро-ду твоему княжескому подстать совсем!

— Ну, ну, говори, что дальше, — грубо пе-ребил Тараруя князь Василий, — по всему ви-жу, хочешь ты меня, разбойника, к себе в учи-теля взять... Брось лисить: не тебе у меня, а мне у тебя разбойному делу учиться нужно!

Князь Хованский пропустил мимо ушей эту новую дерзость своего пленника и про-должал прежним миролюбивым тоном:

— И мало для этого служить нужно: всего только пособрать бы тебе твоих молодцов да на площадь выдти с ними, погорланить ма-

лость...

— Или гиль опять? — быстро спросил Агдар-Ковранский.

— Гиль не гиль, — ответил Тараруй, — а народ православный своей святой правды искать собирается. Знаешь, поди, сам: царь-то — малолетки, а за них государевым делом баба, сестра их, правит... Нешто это полагается? Царь-то всякий, поди, по образу и подобию Божию, аки Адам сотворен, а всякая баба из ребра, что кочерыжка... Кочан на ней должен быть, так не Ваське же Голицыну кочаном стать?.. Не желают этого православные, и вот ты правде Божьей послужи со своими молодцами, а послуги твои втуне не останутся: зело добрая награда тебе будет.

## ТАИНСТВЕННЫЙ ПРИСЫЛ

Ожидая ответа, князь Иван Андреевич, поглаживая бороду, лукаво смотрел на Агадар-Ковранского. Он не сомневался, что ответ будет утвердительный, и думал:

"Ага, попался-таки, парень! Пред добычей-то никогда ворон ворону глаз не выключет... Вот после, когда добычу делить придется, так другое дело, а теперь... Да и что мне тебя в погребу гноить, ежели ты мне службу сослужить можешь? А погреб к тому же мне для хозяйства нужен; осень скоро — с деревенских огородов всякую всячину повезут, а тут держи тебя. После-то погребу не понадобится, прямо тебя, друга милого, в сырую землю упрячу"...

На лице князя Василия Лукича заметно отражалось волнение.

— Ну, что же, родной? — заторопил его Хованский, — какой твой ответ будет?.. Вижу, что согласен ты...

— Нет, погоди, князь Иван Андреевич, —

так и встрепенулся князь Агадар-Ковранский, — дай мне хотя до утра пораздумать.

— Чего раздумывать-то, сокол мой ясный?

— Нужно... Не все ты знаешь! Ведь я своих молодцов растерял; повздорили мы промеж себя малость...

— Эка, велика беда! — перебил его Хованский. — Хочешь, так я тебе под начало сколько угодно молодцов дам... Твоим-то уж ни в чем не уступят: злы, как псы цепные, и в разбойном деле куда как искусны...

— Твоей, что ли, выучки? — пренебрежительно кинул ему Агадар-Ковранский.

— Вот именно! — залился смехом стрелецкий батька. — Ну, что ж, милый, по рукам да и в баню?

— Нет, поразмыслить хочу, — уперся Василий Лукич, — а что и сулить, ежели ничего я сделать не сумею и не смогу... Молодцы-то мои, видно, к себе меня в атаманы опять хотят... Силой в свое становище тащили, да твои сорванцы им помешали...

— Ну, что же поделать, ежели так вышло? Кто такое дело знать мог? — поднялся со скамьи князь Иван. — Так и быть, милый, поду-

май до утра, ежели тебе того так хочется... До утра недолго. А чтобы тебе думать не скучно было, так я тебе французского винца pošлю... Выпей, вкусное вино-то, я за ним на Кукуй-слободу к купцу Монсову посылаю и нарочно по малости беру, а то у нас, на Москве, его беречь не умеют... Подумай, подумай, друг сердечный; ежели надумаешь народу православному послужить, за мной пошли, а не надумаешь — и посылатъ не нужно... Я тут своих людишек сам пришлю; нечего и погреб понапрасну занимать, он мне под овощи куда как нужен! — закончил разговор угрозою князь Хованский.

На этот раз узник не разразился, как прежде, злым хохотом, не отпустил вслед уходившему обычной дерзости. Теперь он был всецело погружен в свои думы, и весь остальной мир как бы перестал существовать для него.

Холоп, принесший князю Агадару объемистый кубок вина и блюдо всякой снеди, очевидно, со стола самого князя Ивана Андреевича, застал его расхаживающим большими шагами из угла в угол. Василий Лукич словно не

заметил вошедшего и обратил на него внимание только тогда, когда тот умышленно громко кашлянул.

— Ты чего? — накинулся князь на холопа. — Пошел вон!

— Я... я-то ничего, — забормотал тот, — а вот Федор Леонтьев...

— Какой Федор Леонтьев?

— Шакловитый... подьячий... так он... сказать твоей милости велел, что ежели пить будешь, так поболтай посильнее... Тогда оно вкуснее станет... А я что? Мне ничего не надо...

— Ну, и пошел вон! — даже замахнулся на холопа князь Василий Лукич.

Холоп исчез, а князь Агадар-Ковранский опять остался один со своими думами, овладевшими им после ухода Тараруя.

— Ловко придумано, куда как ловко! — словно отвечая самому себе, воскликнул он, — ай, да Тараруй! На что другое, а на всякое низкое дело взять его... Хочет, чтобы народ смуту поднял... Потом раскольники пристанут, а там его стрельцы все повершат... Чего ловче! В смуте всякое бывает: ненароком

можно и в кого не хочешь нож всадить... А в самом деле, правду я говорил, что разбойникам у вельмож царских разбою-то учиться следует!

И вдруг, когда так подумал князь Василий, словно кто-то неведомый щипнул его за самое сердце. Никогда этого раньше не бывало; никогда, с той самой поры, когда он, князь Василий, потайно свою ненаглядную Ганночку увидел, не знало его сердце жалости, а тут вдруг опять заговорило. Вспомнилась князю-разбойнику тихая обителька на берегу лесного озера с ее ветхими, давно покинутыми мир стариками, вспомнилось, как они приняли его, болящего, обеспамятевшего, зная, что за зверь он лютый был, и вдруг этому неукротимому, полному всегда кипящей злобы человеку, стало жалко этого приюта мира и любви, до боли в неукротимом сердце жалко стало... А тут распаленное воображение представило ему пылающую смутой Москву. Вот где разгуляться есть, вот где есть чем потешить сердце богатырское, руки поразмять... Хорошо! Эх, пропадай все! Хоть день, да мой...

В горле Василия Лукича пересохло, и он, подойдя к столу, взял кубок с присланным от Хованского вином. Тут ему припомнился несвязный лепет холопа.

Инстинктивно последовав странному совету, князь Василий сильно потряс кубок, и сейчас же послышались какие-то звуки, словно металл ударялся о металл.

— Это что? — так и вспыхнул князь, и, забывая о жажде, повернул кубок вверх дном.

Вино вылилось, но вместе с ним на каменный пол упал, сильно звякнув при падении, большой ключ.

Не помня себя, Агадар-Ковранский схватил его, отер и несколько мгновений смотрел то на него, то на дверь. Потом с искаженным от волнения лицом он кинулся к двери, вложил ключ в замочную скважину и повернул его. Дверь отворилась, князь Василий увидал полутемный коридор, но стражи в нем не было...

— Так вот как? — тихо проговорил он. — Знать, судьба... Э-эй, Тараруй, не удалось тебе меня в кабалу взять!

## ПРЕД РОКОВОЙ ВСПЫШКОЙ

Не раз приходилось Москве переживать бурные гили, не раз все ее предкремлевские улочки и площади заливало живое, бурлящее море, но никогда еще столь долго не затягивалась смута. Бывало, гили вспыхивали и унимались, как вспыхивает и угасает всякое случайное пламя. Но на этот раз было не то: начиналась затяжная смута.

Московские люди притихли, попрятались подальше; им было хорошо ведомо, что смута коснется прежде всего их и им прежде всего придется поплатиться и своими именьями, а не то и своей жизнью.

Князь Хованский ликовал. Он был вполне уверен в благополучном исходе своего предприятия. Все, казалось, говорило за его успех. Стрельцы восторженно принимали своего "батюшку", когда он, так сказать, гипнотизировал их, наезжая то в одну, то в другую из слобод для беседы. Из внутренних городов приходили от верных людей, вожаков-раскольни-

ков, вести, что ежели только Москва начнет, то они на местах не отстанут.

Все это так вскружило голову Хованскому, что о предстоящем захвате молодых царей, а затем и о своей женитьбе на царевне-правительнице он говорил уже, как о совершившемся факте.

— Ты, Андрей, свою-то царевну береги, — лукаво подмигивая, сказал он сыну, — она у тебя хоть и перестарок, — намекнул он на уже решенный им брак князя Андрея с царевной Екатериной Алексеевной, — а девка в соку, по красивости-то и моей Софьюшке мало в чем уступит... Притом же тихая, не то, что сестрицы Марфинька или Марьюшка, а о Софьюшке-правительнице и говорить нечего...

Князь Андрей кисло-вато улыбнулся: с одной стороны, ему не верилось, что природная царевна станет его женой, с другой — он завидовал отцу, не желая его смерти, чтобы занять московский престол.

— Эх, — ответил он, — кажись, чтобы старшая сестра у младшей дочерью стала, того и в зарубежных царствах не было!

Князь Андрей, профессиональный юрист,

еще ничего не достигнув, уже подыскивал основание к тому, чтобы столкнуть отца, когда тот заберется на престол, и занять его место. Однако, упоенный заранее восторгом старик не обращал внимания на отдаленные намеки сына.

У князя Ивана Андреевича был еще младший сын — князь Иван. Это был буйный молодец, гуляка, безобразник. Отец уже давно махнул на него рукою: старику Хованскому думалось, что на этого сына он надеяться не может: "больно ветра много в голове", тогда как спокойный, рассудительный, до тонкости знавший все законы Андрей Иванович казался ему самым подходящим в хитросплетенной интриге, которая должна была их обоих привести к престолу и возвести на него.

Уверенный в преданности стрельцов Тараруй все-таки несколько побаивался одного стрелецкого полка, не выказывавшего ему своих восторгов и безучастно относившегося ко всяческим его заигрываниям.

Это был стрелецкий стремянный полк, особенно часто вызываемый для караулов в Большой дворец. Этот полк пользовался боль-

шим вниманием царевны-правительницы, часто видел обоих царей и казался старому интригану ненадежным.

"Надобно удалить его, — размышлял князь Иван Андреевич, — а то одна ложка дегтю весь мед испортить может... Вон и бутырские солдаты неведомо еще на чьей стороне будут".

В самом деле, в слободе Бутырке, у заставы, где были поселены гарнизоны солдат бутырского полка, положение было довольно неопределенно. Солдаты были совсем новым войском, большинство их было взято из московских семей. Они знали, что при смуте прежде всего пострадают их родные, и потому далеко не были проникнуты желанием помочь в беспорядках стрельцам. Эти же последние были для Москвы чужаками: московских уроженцев среди них было немного; большинство составляли астраханские стрельцы и вообще уроженцы Поволжья. Все они были закоренелыми раскольниками, и на них-то была у князя Хованского самая твердая надежда.

В своем упоении князь Иван Андреевич да-

же особого внимания не обратил на побег князя Агадар-Ковранского из его погреба. Когда Хованские подсчитали свои наличные силы, для него сразу стало ясным, что при таком их количестве можно обойтись и "без народа", а стало быть, и вожака для гилевщиков было уже не нужно.

— Пусть его! — решил князь Хованский, когда ему доложили, что пленник неизвестно как убежал. — Далеко не уйдет, тут на Москве трепаться будет... Найдется — повешу на первом заборе, вот и вся недолга!

Он даже не назначил расследования о том, как удалось бежать пленнику: не до того было, — все его мысли были заняты предстоявшим "великим действием".

А начало этого великого действия было назначено на 19 августа 1683 года, когда по Москве из Успенского собора в Донской монастырь совершался крестный ход в память избавления от нашествия татар-крымцев при царе Федоре Иоанновиче.

Обыкновенно, этот крестный ход совершался с особенной пышностью. За ним всегда следовал сам царь, несший крест. Тут должны

были идти оба царя, и у Хованского был план произвести беспорядок во время пути к монастырю и захватить под предлогом "верного обережения" обоих царей — Ивана и Петра, — оставив, однако, на свободе их сестру-правительницу.

## XXVII

### СОРВАННАЯ СМУТА

Грозные дни переживала царевна-правительница Софья Алексеевна. Она ясно понимала свое положение, сознавала призрачность своей власти. Какая это власть, если иные стрельцы могли шатать ее из стороны в сторону, если они могли за несколько бочек вина, выкаченных им для пропоя, сгонять с царства одних, возводить на престол других! Что это за положение, если развратный старик Хованский, плохой полководец на поле битвы, мог предъявлять требования на красавицу, царскую дочь, замужеству с которой был бы рад любой зарубежный король!

Царевна зубами скрежетала, платки свои кружевные в мелкие клочья рвала, всех сво-

их горничных девок перещипала со злости, когда ей вспоминались замыслы Тараруя. В ней этими замыслами была оскорблена женщина, женщина гордая, властная, знающая, кто и что она такое, и притом еще, женщина любящая...

После ночного свидания в беседке царевна не видела князя Василия Васильевича, — да мало того, что не видела, а сама не хотела его видеть.

— Когда сдержу свое слово и покажу ему, что Тараруй в свой смертный час будет отказывать, — приказала она передать своему любимцу, — тогда и свидимся...

Однако, тут говорила уже не одна только гордость. Как ни была могуча царевна, а и в ее мужественное сердце закрадывалась неуверенность в своем будущем. Она тоже хорошо знала, на какие силы опирался Хованский, и порой отчаяние начинало охватывать ее. В сущности говоря, она была одна, совсем одна; то трусливое боярское стадо, которое толклось постоянно в царских палатах, только раздражало ее своею растерянностью.

"У-у, окаянные! — думала не раз царев-

на. — Возьмет Тараруй силу, так от меня все они к нему и посыплются! Вот и вся их цена".

Однако в последние дни при царевне оказался человек, в котором она сразу же уверилась безусловно. Это был Федор Леонтьевич Шакловитый. Уже одного того, что он был прислан "светом Васенькой", было вполне достаточно, чтобы царевна положила на него, как на каменную гору. И она на этот раз не ошиблась: Федор Шакловитый был именно такой человек, какой и нужен был Софье Алексеевне в переживаемое ею тревожное время.

Она сразу приблизила его к себе, долгие часы проводила с ним в разговорах о предстоявших событиях, и Шакловитый умел всегда успокоить ее тревогу.

— Брось даром крушить свое сердце, матушка-царевна, — говорил он, — что там будет, Бог покажет, а я так думаю, что не Тарарую нас взять...

— Думаешь? — спрашивала Софья Алексеевна.

Шакловитый презрительно передергивал плечами.

— В грош я тараруевских стрельцов астраханских не ставлю! — говорил он. — Они, что пес-пустолай, только на одно тьявканье и годны... Сделай по-моему, царевна, и увидишь, что выйдет... Доверься мне в этом! Богом клянусь — не пожалеешь!..

Шакловитый уже не однажды развивал пред правительницею в подробностях свой план борьбы со смутой, но только накануне того дня, когда должен был идти роковой крестный ход, царевна-правительница сказала ему:

— Ну, Федор, сделаю по-твоему, а в остальном сам действуй...

Глаза молодого человека заблестели радостью, когда он услышал эти слова.

В день крестного хода несмотря на все страхи, все московские улицы и проулки, по которым он должен был пройти в Донской монастырь, кишели народом. Все знали, что вряд ли дойдет до монастыря крестный ход, что на пути ему тараруевы приспешники приготовили засаду, и что дело дойдет до кровопролития; но все-таки во всех говорило любопытство и собрало на улицы толпы празд-

ных людей. Среди них был и недавний пленник Тараруя — князь Василий Лукич Агдар-Ковранский.

Когда он вырвался из погреба Хованского, то первым, на кого он наткнулся, очутившись на свободе, был Федор Шакловитый. Последний увел к себе освободившегося пленника, скрыл его у себя до поры, до времени и только теперь, в день крестного хода, позволил ему выйти на московские улицы, чтобы посмотреть, как начнется тараруево "великое действо".

Князь Василий Лукич ходил из улицы в улицу, как сонный. Всюду он видел буйные толпы пьяных стрельцов, слышал угрозы залить Москву кровью и не видел ничего такого, что было бы приготовлено хотя бы для отпора начинавшегося бунта.

А что последний был неизбежным, это казалось очевидным.

— Возьмем за себя великих государей, — во все горло орали пьяные, — пусть они сами царствуют, а бабьего хвоста нам на престоле не нужно...

Такие крики раздавались всюду. Начало

своего "великого действия" Тараруй полагал именно в захвате царей. Это он считал наиболее важным; остальное все, по его расчетам, должно было пойти как по маслу.

Вдруг незадолго до того, как кончилась в Успенском соборе литургия, показались стройные ряды всадников, направлявшихся через Москву к Коломенской заставе. Это выходил в полном своем составе стремянный полк, тот самый, на который не питал надежды князь Хованский. Полк красиво прошел по улицам, никого не трогая, и это еще более убедило бунтовщиков в их успехе.

— Видел, князь, стремянных? — ликовали полупьяные стрельцы, — теперь нашему делу ни от кого помехи не будет...

Чу, зазвонили колокола. Это пошел крестный ход. Вот его хоругви, слышны песнопения... Вот идет духовенство.

Стрельцы не двигались с места. Они стояли, разинув рты, не зная, что им делать. Ни царей, ни царевны-правительницы за крестным ходом не было...

— Отъехали цари-то с Москвы, — пронеслась вдруг весть среди обескураженных бун-

товщиков, — стремянные их поезд провожать позваны.

Хитросплетенный план Тараруя потерпел крушение.

## XXVIII ЦАРСКИЙ ОТЪЕЗД

Да, не удался в самом своем начале план старого Тараруя!..

Несчастные пьяницы-стрельцы были подбиты на то, чтобы захватить обоих царей и скрыть в подмосковном доме своего "батъки". Но царей на крестном ходу не оказалось и захватить было некого. Повод к смуте был вскрыт разом: и всеми сторонниками Хованского овладели смущение и растерянность.

Сам Тараруй не знал, что делать. Теперь ему уже не о царстве нужно было думать, а о том, как спасти свою голову. Старик хорошо знал нрав своих стрельцов. "Сумы переметные" — нередко называл он их сам. Всякая неудача действовала на них угнетающе, и теперь можно было ожидать, что если не все полки, то большинство их, перейдут на сторо-

ну правительницы.

"Изловить! Придушить сразу, — было первою же мыслью Хованского, когда он получил известие об отъезде царей, — все равно пропадать теперь".

Но момент был уже упущен. Весь царский двор был в селе Коломенском и около него для стражи оказался стремянный полк, достаточно сильный, чтобы отбить нападение стрельцов, если бы только те осмелились на это.

Но стрельцам было не до того. Они приуныли, потеряли всякую бодрость и пьянствовали так, что в кружалах не хватало вина.

Однако, Хованский не хотел сдаваться. Он вздумал пугать правительницу "новгородскими боярами", которые, будто бы, прибыли в Москву для всенародной смуты, и совсем уже глупо спрашивал у правительницы, что ему с ними делать?

— А тебе бы, воевода, — последовал ответ, — тех новгородских бояр взять за себя и разыскать ими, для чего они то действие затеяли, и, разыскав все, бить челом великим государям, пусть бы грамоту свою дали и тех смут-

тъянов по своей царской воле пожаловали.

Другими словами, Хованскому указан был обычный порядок судебного расследования по делам подобного рода и при этом даже было подчеркнуто, что, дескать, он, воевода, своего дела не знает, ежели о нем расспросы делает.

Это было таким ударом по самолюбию князя, что он совсем голову потерял и начал было Москву мутить и кровавую гиль поднимать.

Однако опять последовала неудача! Московский народ не хотел гили и был против стрельцов, которых считал рассадником смуты; стрельцы, растерявшиеся после первой неудачи, боялись народа, зная, что они — ничто без него и негодны были ни к каким вооруженным выступлениям.

Раскольники же, видя, что ни народ, ни стрельцы смуты не начинают, тоже сидели, не давая о себе ни слуха, ни духа, так что Тараруй и его сын остались совершенно без союзников. А тут еще наступило новолетие. Нельзя сказать, чтобы день первого сентября праздновался Москвою особенно пышно, но,

как и во все другие праздники, москвичи любили основательно выпить в течение его. Москва в день "действия нового лета" обычно имела пьяный праздничный вид, а на этот раз осталась трезвою. От двора пришел указ Хованскому быть у "действия нового лета", а он, струсив сам, не пошел. Не пошли и его стрельцы. Из народа пришли только пьяницы, и патриарх остался очень недоволен. Еще бы! При торжестве был только один окольниковый.

Москва испугалась, с одной стороны, стрельцкого бунта, а с другой — была уверена, что боярские дети и люди отомстят в день новолетия стрельцам за беспорядок на крестном ходу. Таким образом, с обеих сторон было пусто, а Хованский, не получавший точных сведений о настроении стрельцов и народа, был уверен, что он останется совсем без союзников.

О малолетних царях он получал довольно верные сведения. Они, благоверные, изволили путешествовать. Из села Коломенского оба царя отъехали в Воробьево, из Воробьева — в Павловское, затем — в Саввин-Сторожевский

монастырь, где праздновать изволили память чудотворца Саввы. Затем они вернулись в Павловское, а из него проехали в Хлябово, а из Хлябова — в село Воздвиженское, где и были четырнадцатого сентября, дабы отпраздновать здесь престольный праздник.

Ездили-то цари не совсем просто. Не Бог весть какие они села объезжали, а массу народу собрал их поезд. Напрасно сказал поэт, что "живая власть для черни ненавистна". Во время этого путешествия царей, из которых один был недоумок, а другой — малолеток, около них собралась такая масса всякого народа, какая и в Москве не всегда собиралась.

Софья ездилa с братьями и ловко придумала.

Прибыл с Украины гетманыч Семен и ради него царевна-правительница стала рассылать всем боярам, окольнічым, думным людям, стольничым, стряпчим, дворянам московским и жильцам указы о походе из Москвы в Воздвиженское, всем было приказано съехаться непременно к 18 сентября. В этот день назначился большой прием гетманыча великими государями, а так как в канун этого дня

были именины царевны-правительницы, то еще шестнадцатого сентября масса московской знати переполнила Воздвиженское. Тут были не только придворные люди, но и множество простых стрельцов, пожелавших воспользоваться именинным днем, чтобы заявить о своем раскаянии принести повинную царевне.

Князь Иван Андреевич Хованский видел, что вся его затея рушилась, но для вида все еще держал голову высоко. Он оказался в полном одиночестве; около него ютился еще сын его, Андрей, прекрасно понимавший, что его судьба связана ое условно с судьбою отца. Второй сын, Иван, словно не замечая, что происходит, пьянствовал и беспутствовал со стрельцами, как прежде.

Нельзя сказать, чтобы князь Иван Андреевич казался забитым или униженным; напротив того, он держался совсем гоголем, отдавал распоряжения, как будто ничего не произошло в Москве, и не показывал вида, что число преданных людей вокруг него с каждым днем все таяло и таяло. Должно быть, он все еще питал надежду, и эта надеж-

да прочно сидела в нем, хотя бы потому, что он видел, что и князь Василий Васильевич Голицын все еще остается в Москве и даже не делает никаких сборов к отъезду.

— Обнесли нас пред царевной-то, — лицемерно вздыхал он в беседах с сыном, — уж если она своего... милого дружка к себе не требует, так, значит, ничего она не задумывает, и все пойдет на Москве по-старому.

Однако, семнадцатое сентября сильно пугало Тараруя. Он уже прознал, что на день своих именин царевна назначила в Воздвиженском "большое сидение", то есть совет по каким-то государственным делам. Если бы она не призвала к этому сиденью и Хованских, то это значило бы, что они в великой опале, но этого не было. Особым гонцом правительница просила и князя Ивана, и князя Андрея прибыть к ней "на водку", то есть, другими словами, она приглашала их и на созываемый ею совет.

Тараруй был в восторге от этого приглашения и, нимало не медля, собрался в Воздвиженское.

## XXIX

# ЛЮБОВЬ И ТРОН

Князь Василий Васильевич Голицын тоже получил приглашение прибыть в Воздвиженское на именины царевны, но оно было далеко не таково, как приглашение Тараруя.

Царевна-правительница уже чувствовала и ясно видела, что она в состоянии исполнить те обещания, которые несколько хвастливо были даны ею князю Василию при ночном свидании в беседке, и написала ему очень нежное приглашение.

"Свет ты мой Васенька, солнышко ты мое ненаглядное! — читал князь Василий Васильевич в нежном послании своей разлапушки. — Проходит наша темная ночька и радостный светлый день наступает, но, как в беде, так и в радости, не могу я тебя забыть, моего светозарного. Спасибо тебе за Федю Шакловича! Вот парень, в молодые лета умудренный опытом старца седого. Он мне один только добрый совет подал; но я так думаю, что не он, а ты мне добро сделал, ибо если б ты его

ко мне не прислал, так и его в тяжелые годы около меня не было бы. Так что не он, а ты мне помог окаянную хованщину избыть. Теперь же я ничего не боюсь. Около меня народ сошелся и происки врага мне не страшны. Приезжай ты, свет мой, в Воздвиженское, где я с братьями милыми и с мачехой будем справлять именины мои, святой Софии, премудрости Божией, коей имя невозбранно ношу я с твоею теперь, Васенька, помощью. Назначила я после водки у великих государей великое с боярами сиденье. Ты на него хотя и не приезжай, а после пожалуй. Может быть, и исполнится слово мое, кое я тебе в нашем особливом разговоре сказала, и увидишь ты, какое кому царство проклятый Тараруй будет отказывать. А тебе, соколу моему поднебесному, привет от меня. Поцелуйи же мои потом последуют, когда мы без письма с глазу на глаз встретимся".

Это письмо, дышащее и любовью, и ненавистью, произвело большое впечатление на князя Василия Васильевича. Он не любил Хованского, считал его вредным интриганом, но уже по той паутине, которую раскидывал Та-

раруй, видел в нем человека, куда более способного, чем дядя царевны, Иван Михайлович Милославский. И ему жалко было князя Ивана Андреевича, жалко потому, что, по его соображению, этот зарвавшийся вельможа, как бы там ни было, человек с русской душою, мог бы быть полезным русскому царству. Но Голицын видел, что князь Иван Андреевич приуготовил свою судьбу, и теперь, жалея его, размышлял, как бы устранить от него его ужасную участь.

Шакловитый был у князя Василия Васильевича постоянным гостем и являлся к нему запросто.

Скромный подьячий величался теперь уже думным дьяком и правил многие царевы дела. Он отнюдь не был снисходителен ни к Хованским, ни к стрельцам.

— Брось ты, княже, жалеть эту мразь, — сказал он Голицыну. — Много их, и обо всех-то их, от первого до последнего, плаха да виселица плачут. Одну голову срубить — десяток на ее место явятся. Одного повесить — десяток с петлями на шее прибежит. Чего их жалеть-то? Э-эх! Добра еще царевна-прави-

тельница! Собрать бы их всех на Красную площадь да перерезать, как персюки баранов режут, чтобы другим, что после придут, не повадно было бунтовать. А то, сам посуди, из-за чего они стараются? Очень им переболело, кто на царстве будет; ведь Романовы, Милославские, Хованские — один им дьявол. Кто их водкой поит, тот им и царь. А польза какая от них? Вот смутьянят ляхи, обидные грамоты рассылают, Украину в подданство к султану зовут, чтобы от нас их отшибить. А пошли-ка этих стрельцов на рубеж, так разве они годны для царского дела? Нет, новые солдаты куда пригоднее. Ежели бы моя воля была, вывел бы я все это войско стрелецкое до единого... Смута только одна от него...

В ответ на такие суждения князь Василий только головой кивнул.

— Всякому овощу свое время, — произнес он. — Хорошо, что теперь и стрельцы есть. Буйны они, что говорить, а все-таки сила. Силою же один только ум владеет. Настанет время, когда и сами они пропадут. И так я думаю, что такое время не за горами. Недолговечна правительница. Сам, поди, знаешь, не по

дням, а по часам растет богатырем нарышкинец-то. Мало времени пройдет — и придется правительнице ему царство сдать. А уж он-то и не с одними стрельцами управится.

— А скажи мне, княже вот ежели бы, к примеру сказать, Петр-то Алексеевич царем стал? Был бы ты ему слуга, или нет? — спросил Шакловитый.

— Был бы! — без всякого раздумья ответил князь Василий. — Не за страх, а за совесть был бы, хоть и не люб мне. Ведь все же он — царь над Русью венчанный.

В князе Василии Васильевиче уже сказывался будущий дипломат, умеющий заглядывать за завесу грядущего.

## XXX

### НА ПУТИ К ПЛАХЕ

Вся московская знать двинулась в Воздвиженское, как только стало известно, что царевна Софья там будет справлять свои именины. По дороге в тихое, мало посещаемое село потянулись длинные обозы; с утра до ночи, а то и ночью, видны были колымаги, окруженные вершниками, слышались непрерывные крики, брань, понукание, и уже одно это должно было бы показать князю Хованскому, что затеянное им дело потерпело полнейшую неудачу.

Однако, старый Тараруй все еще не хотел сдаваться; он никак не мог поверить тому, что его тайные замыслы могли быть раскрыты. Он не допускал мысли, чтобы кто-либо мог прознать его сокровенные тайны, а все то, что пока произошло, еще отнюдь не составляло, по его мнению, никакого преступления, в котором можно было бы обвинить его. Такие мути и гили, как вызванная им, и раньше того не раз бывали в Москве; задор-

ность и буйность стрельцов были хорошо известны, а он ничем не проявил себя — ни подстрекательством к мятежу, ни даже попустительством на него. Да и мятежа-то никакого не вышло, все обошлось тихо. А злые языки мало ли что говорить могут? Их мерзкого бреханья не переслушаешь.

Так думал Хованский, и женской придурью, то есть капризом, объяснял себе желание царевны отпраздновать именины не в столице, а в далеком подмосковном селе. Наконец, видя, что все отъезжают из Москвы в Воздвиженское, князь Иван Андреевич решил и сам поехать вместе со старшим сыном, князем Андреем.

Было ясное сентябрьское утро, когда, наконец, из Москвы к Пушкину тронулся поезд Хованского. Желая показать, что ему бояться нечего, князь Иван Андреевич не взял даже стрелецкого конвоя, а ехал запросто. Думалось ли ему в те мгновения, когда он отъезжая крестился, что он в последний раз в жизни видит блистающие главы московских сорока сороков?

А оставленная им Москва словно теряла

голову от неожиданно нависшей над ней беды. Такое с ней случилось еще впервые. Правда, отъезжали на время гили и Тишайший царь, и царь Михаил Федорович, но столица, все-таки, никогда не оставалась без высокой власти, к которой она уже привыкла в предшествующее царствование. Всюду шатавшиеся пьяные стрельцы, то там, то тут задиравшие мирных обывателей, как бы хотели показать, что ждало бы москвичей, если бы они, "тараруевы детки", стали и на самом деле хозяевами положения, и тем самым как бы отняли значение высшей власти для мирного населения. Скоро эти полупьяные буяны стали ненавистны своими бесчинствами для всех, кто оставался в Москве, и если бы не уверились, что в конце концов правительство справится со смутой стрелецкой, против них двинулся бы сам народ.

Князь Василий Лукич во все эти смутные дни шатался по Москве, к чему-то все приглядываясь, чего-то все ожидая. Ему казалось, что "тараруево действие" далеко еще не закончено и что так ничем не может быть кончено. Порой ему становилось жалко, что он не при-

нял предложения Хованского, порой он обвинял самого себя в том, что сам до известной степени был виновником всей этой московской бестолочи, только напрасно перебудоражившей людей.

"Э-эх, если бы в прежнее времячко да это, — думалось ему, — уж тогда было бы, где разгуляться!.. А то и народ-то какой пошел: режь его, а он, как теленок, голову протягивает. И стрельцы тоже — хороши молодцы... нечего сказать! А еще войском считаются!.."

И опять в душе этого неукротимого человека рождалась злоба, притом, совершенно беспричинная в его положении. Вряд ли он даже знал, на кого он злобствовал; он сознавал только одно, что все делается не так, как ему хотелось бы, что смута не принимает такого характера, какой он представлял себе. В то же время князя Агадар-Ковранского неудержимо тянуло в Воздвиженское, где была теперь вся Москва. Ему хотелось видеть, как встретится Тараруй с неукротимой царевной и чем завершится их встреча. Натура князя Василия Лукича была непосредственна, он легко поддавался своим порывам, и, когда прознал, что

князя Хованские собрались на царевнины именины, решил и сам отправиться в Воздвиженское, дабы стать свидетелем того, чем завершится наконец "тараруево действо". Как ни неукротима была душа этого человека, все-таки то, что он пережил в последние дни, как бы покинуло его и уже лишило прежней мощи, в которой всегда сказывалось более безумства, чем ума.

Нельзя сказать, чтобы замыслы Тараруя, в которые он столь неожиданно проник, не привлекали его. Все преступное скорее находило отклик в душе Василия Лукича, чем доброе. Злость заставила его помешать Тарарую, выдав Шакловитому его тайные планы, а теперь, когда, благодаря доносу, "тараруево действо" было проиграно, ему было уже жалко этого лихого старика, хотя и не прикидывавшегося доброжелателем простого народа, но все-таки кое-что для него делавшего.

Обуреваемый такими мыслями, Агадар-Ковранский, пристроившись на чьем-то возке, начал пробираться к Воздвиженскому.

Между тем, Хованский добрался уже до Пушкина. Дорога была для него легкая. Много

народа шло по ней, и со своим величайшим прискорбием он должен был видеть, что все эти люди шли к Воздвиженскому, то есть на поклон к царевне. Грустно было на душе у Тараруя, но тем не менее он считал свое дело далеко еще не проигранным.

— Э, пустяки все, — сказал он сыну, князю Андрею Ивановичу, стараясь ободрить его. — Полно, сынок, не робей!.. Не в таких мы с тобой передрягах бывали, а сухими из воды всегда выходили. И теперь мы выйдем. Не бойся!..

— А слышал ли, батюшка, в чем виноваты нас? — спросил приунывший князь Андрей. — Знаю, что заведомую напраслину взводят, а как бы дыбою в застенке наше дело не кончилось.

— Э-э, пустое! Какая там дыба? Не так-то легко именитого князя на дыбу вздергивать, не простые мы с тобой люди. Прежде чем в застенки отправлять, спросят, поди, нас, так ли то было, или нет.

— А ежели, батюшка, не спросят? — настаивал младший Хованский. — Ежели вот и видеть-то нас царевна не пожелает.

— Ну, тогда мы и сами на нее не взглянем, — дерзко сказал старик. — Возьмем да назад на Москву и отъедем, а там нас стрельцы-молодцы не выдадут.

— Хорошо, кабы так!.. А гляди-ка, батюшка, никак боярин Лыков из Воздвиженского назад едет.

Андрей Иванович не ошибался. Прямо на поезд Хованского надвигался отряд стремянных стрельцов, во главе которых был боярин Лыков, один из боевых воевод царя Алексея Михайловича, личный враг Хованского.

— Эге, князь Иван Андреевич, — закричал он еще издали. — Поздно ты на царевнины именины собрался! Соскучилась по тебе наша матушка и вот теперь меня за тобой послала. Ну-ка, поедем вместе, скорее будем.

Глазом не успел моргнуть Хованский, как его поезд был окружен стремянными. Теперь и его сердце почувствовало недоброе.

## КОНЕЦ СТРЕЛЕЦКОГО БАТЬКИ

**А** в Воздвиженском в Софьин день, несмотря на именины царевны, после поздравления ее, началось в постоянной избе у съехавшихся бояр "о государевом деле великое сиденье".

— Великим государям ведомо учинилось, — доложил думный дьяк заседавшим боярам, — что боярин, князь Иван Хованский, будучи в приказе надворной пехоты, а сын его, боярин, князь Андрей, в судебном приказе, всякие дела делали без великих государей указа, самовольством своим, и противясь во всем великих государей указу; тою своею противностью и самовольствием учинили великим государям многое бесчестие, а государству всему великие убытки, разоренье и тягость большую. Да сентября во второе число, во время бытности великих государей в Коломенском, объявилось на их дворе у передних ворот на них, князе Ивана и князя Андрея, подметное письмо: извещают московский

стрелец да два человека посадских на воров и на изменников, на боярина, князя Ивана Хованского, да на сына его, князя Андрея: "На нынешних неделях призывали они нас к себе в дом — человек девять пехотного чина да пять человек посадских — и говорили, чтобы помогали им достигать царства московского и чтобы мы научили свою братию ваш царский корень известь, и чтобы придти большим собранием неожиданно в город и называть вас, государей, еретическими детьми и убить вас, государей обоих, царицу Наталью Кирилловну, царевну Софью Алексеевну, патриарха и властей; а на одной бы царевне князю Андрею жениться, а остальных царевен постричь и разослать в дальние монастыри; да бояр побить: Одоевских троих, Черкасских двоих, Голицыных троих, Ивана Михайловича Милославского, Шереметевых двоих и иных многих людей из бояр, которые старой веры не любят, а новую заводят; и как то злое дело учинят, послать смущать во все московское государство по городам и деревням, чтобы в городах посадские люди побили воевод и приказных людей, а крестьян подучать, что-

бы побии бояр своих и людей боярских; а как государство замутился, и на московское бы царство выбрали царем его, князя Ивана, а патриарха и властей поставить, кого изберут народом, которые бы старые книги любили".

С напряженным вниманием слушало все "сидение" этот страшный обвинительный акт против могущественного вожака стрельцов. Все знали, что тут много прикрас, но вместе с тем было понятно и то обстоятельство, что в основу обвинения заложена сама сущая правда.

— Вот вам, бояре именитые, и слово знаменитое, — звонко выкрикнула царевна, все время безмолвно слушавшая чтение. — А к тому вам добавить хочу, что и сам-то Ивашка Тараруй на такое помыслить осмелился, чтобы я, царевна, за него замуж пошла, и через то самое оный Тараруй над вами царем бы стал.

— Прости, царевна, — выступил один из бояр, — если бы шуты такое говорили, так я посмеялся бы, может быть, а теперь смеяться не смею, а верить не могу. Слышите, бояре, Тараруй у нас царем захотел быть!

— Полно тебе лисить!.. — раздался голос из задних рядов. — Сам, поди, лучше других знаешь, на что Тараруй метил.

— Откуда знать-то мне? — высокомерно ответил вопросом первый боярин. — Я с Тараруем пива не пивал.

— С раскольничьими идолопопами зато ведался. Сами поди, сговаривались старую веру на новое место стрельцовскими бердышами на наших головах укрепить.

Сама собой разгоралась ссора, сравнительно нередкая на подобных боярских "сиденьях". Софья прекрасно знала, что завершением таких ссор обыкновенно бывает всеобщая потасовка, а между тем, момент был вовсе не такой, чтобы дать страстям разгуляться.

— Молчите, бояре! — гневно выкрикнула она. — Кто что думал, о чем с кем сговаривался, того я не спрашиваю теперь, может быть, и после не спрошу, а созвала я вас сюда в именинный свой день за тем, чтобы вы сказали мне, повинен ли князь Иван Андреевич Хованский с сыном своим, князем Андреем, в лихом умысле на наши царские величества?

Задавая такой вопрос, Софья даже со свое-

го трона приподнялась и теперь стояла, обводя пылающим взором все собрание. Она хорошо знала всех этих людей и проникала в сокровенные их мысли. Среди заседавших бояр не было, ни одного, который не страшился бы Тараруя, как пожара. Ведь князю Ивану Андреевичу ровно ничего не стоило бы напустить на своего противника ватагу пьяных стрельцов, им же напоенных, и тогда, конечно, недовольного им человека постигло бы полное разорение. Этого и боялись московские знатные люди.

Тараруй для них был неуловим. Ведь не мог же он, в самом деле, отвечать за пьяные стрелецкие безобразия. Ну, взыскал бы он с первого попавшегося батогами, а какой был бы толк от того разоренному? Эта боязнь сказывалась даже и теперь. Софья, не слыша ответа на поставленный ею ребром вопрос, сильно заволновалась, но все-таки нашла выход из такого положения.

— Это хорошо, что вы не сразу отвечаете, — пренебрежительно кинула она собранию. — Подумайте, подумайте хорошенько, авось по правде ваше решение будет.

— Матушка-царевна, — перебил ее слова вбежавший с докладом один из назначенных в караул боярских детей. — Дозволь тебе сказать, государыня, что привез боярин Лыков Ивашку Тараруя с его отродьем, и стоят они у села на большой дороге, в том месте, где ты указала.

Словно буря внезапно налетела и оживила дотоле упорно молчавших бояр.

— Повинен... в лихом умысле на здоровье царских величеств князь Хованский... И Иван, и Андрей повинны... — кричали в первых рядах.

— Казнить их обоих, чтобы и памяти от них не осталось... — неистовствовали задние.

— Худая трава из поля вон... Да здравствует царевна Софья Алексеевна! — повторяли третьи.

— Да живет она многие лета!

О царях Иване и Петре никто не вспоминал.

— Ручку, ручку дай поцеловать, царевна милостивая, — так и подкатился к Софье Алексеевне тот самый боярин, которого только что уличали в сношениях с раскольника-

ми, поддерживавшими Хованского. — Ты одна у нас солнце красное и тебе мы все верою и правдою служим. А Ивашке Тарарую смерть. Пусть ему голову отрубят за то, что такое помыслить осмелился. Нечего такую голову и жалеть, если в нее столь срамные мысли приходят...

— Так каков же ваш приговор, бояре? — покрывая весь шум, выкрикнула царица. — Повинен, говорите, князь Иван Андреевич Хованский с сыном Андреем?

— Повинен... Смертью казнить! — опять раздались голоса. — И откладывать дело нечего: палачей не занимать, поди, стать, всегда найдутся...

— Ты слышал, дьяк? — обернулась царица к дьяку, читавшему обвинительный акт. — Поди же немедля к боярину Лыкову и скажи ему, что присудили бояре. Пусть Федя Шакловитый с тобой идет для верности и стремянных поболее захватит с собой на случай, ежели гиль какая выйdet. Оба идите и исполните, как бояре приказали.

Вовсе не ожидал столь скорого для себя конца несчастный князь Иван Андреевич. Ко-

гда он увидел, что приближается дьяк, то подумал, что его послали поторопить нового гостя с приходом на именинное пиршество. И вдруг вместо этого он услышал чтение грозного обвинительного акта и, прежде чем дослушал его до конца, уже понял, что настали последние мгновения жизни его и его сына.

— Богом клянусь, — воскликнул он, — что никогда ничего такого не замышлял, а если бы сын мой такое помыслил, так я своими руками удушил бы его.

Громкие клики стремянных заглушили слова осужденного. Притащили из леса толстый обрубок дерева и этот обрубок заменил плаху. Один из стремянных вызвался быть палачом, и вскоре после того скатились с плеч головы и старого Тараруя, и его сына.

У той части русских людей, которая столь яростно противилась надвигавшемуся прогрессу, было вырвано могучее оружие. Так называемые раскольники лишились единственного смелого человека, не задумывавшегося идти против укрепившейся династии новаторов Романовых; прогресс кровавым путем сделал новое завоевание.

## ПОСЛЕ КАЗНИ

Когда князь Агадар-Ковранский увидел, как под неумелой рукой добровольца-палача скатились головы князей Хованских — отца и сына, — им вдруг овладело неистовое бешенство, приступов которого он не испытывал уже давно. Он совершенно забыл, что эти головы скатились не без его участия, что если бы не он, так, может быть, все пошло бы по-иному: князь Хованский не очутился бы в столь жалком положении, и эта голова, столь дерзко думавшая о царском престоле, уцелела бы на плечах.

Теперь в глазах Агадар-Ковранского оба эти человека были жертвами коварства, и их кровь вопияла к небесам об отмщении. Но кому же было мстить за них? У несчастного Тараруя, и его сына было много друзей среди московской знати, когда сила была на их стороне, но эти друзья — и явные, и тайные — не пошевелили бы пальцем, чтобы спасти обреченных, и несчастные жертвы остались бы

одни в роковое мгновение своей жизни.

Все это промелькнуло в голове Василия Лукича, и он, словно повинувшись внутреннему властному порыву, не помня себя от ярости, вдруг выкрикнул:

— Нечестивцы! Изверги! Да падет эта кровь на головы ваши!

Этот крик, обратившийся в отчаянный вопль, резко нарушил мертвящую тишину, вдруг воцарившуюся около места казни. Он как бы привел в себя сотни людей, словно застывших при виде ужасных мгновений, словно почувствовавших дыхание смерти, пронесшейся среди них, нарушил великое очарование ее, возвратил всех к жизни. А в следующее же мгновение князь Василий Лукич почувствовал, как несколько рук ухватило его так, что он даже не мог двинуться с места.

— Стой, молодец! — услышал он над собой, — Откуда взялся.

— Чего спрашивать? — зазвучал другой голос. — Нечто не видно, что он из тараруевских ребят окаянных! Что с ним долго возить-ся? Плаха не убрана, пусть идет сынок за батькой, туда ему и дорога!

— Проклятые, — рванулся было князь Агадар-Ковранский, но его держали крепко, и попытка оказалась тщетною.

— Врешь, негодник, не уйти тебе! — крикнул один из державших, — пришибить его, вот и вся недолга!

Несколько опомнившийся Агадар-Ковранский, словно в тумане, видел вокруг себя возбужденные, дышавшие злобой лица. Его уже оттащили в сторону от дороги.

Пинки, тумачи, удары градом сыпались на него, но он не чувствовал ни боли, ни унижения. Ярость словно слепила его. По кафтанам и шапкам он различал, что его схватили стрельцы преданного царевне стремянного полка, и, стало быть, о пощаде или хотя бы о промедлении казни и думать было нечего. "Стремянные" ненавидели всех тех, кто держал сторону Тараруя, теперь же они были распалены зрелищем его позорной смерти и искали, на ком бы сорвать свою ярость. Жертва была налицо, и некому было остановить этих разъяренных людей.

Но этого не случилось. Видно, князь Василий Лукич свершил еще не все, что суждено

было ему свершить на земле.

— Эй, молодцы, — раздался властный оклик, — что еще такое вы затеяли? Кого это вы уму-разуму учить задумали?

Услышав этот голос, стремянные оставили Агадар-Ковранского и даже несколько отступили от него. Тот взглянул вперед и увидел пред собою Шакловитого. Князь Василий впервые видел его после встреч в Москве. Это был далеко не прежний шустрый подьячий. Федор Леонтьевич сидел на коне, молодецкато избоченясь, и гордо, даже презрительно смотрел пред собою. Когда он увидел порядком потрепанного стрельцами князя Агадар-Ковранского, в его взоре не отразилось ничего: ни удивления, ни сострадания. Он смотрел холодно и безучастно, как будто никогда ранее не видел Василия Лукича.

— Что у вас такое, молодцы? — переспросил он.

— Да вот, батюшка, — выступил один из стремянных, — вора поймали... проклятое тараруево отродье!

— Непохож что-то! — отозвался Шакловитый, — тараруевых-то деток, поди, сами вида-

ете; я чуть не каждого в лицо знаю, а такого что-то не видел!

— И из нас никто его не знает! — последовал ответ. — Неведомый человек, а нас всех паскудить стал, как тараруева голова с плеч скатилась! Ну, мы и взялись было за него!

По лицу Шакловитого скользнула тень недоумения. Он опять взглянул на Василия Лукича и даже слегка пожал плечами при этом.

— Вот что, братцы, — сказал он после недолгого раздумья, — вы-то — не тараруевы дети, престолу верны, а своевольничать начинаете, как и те, окаянные. Мало ли что бывает! Человек, никому из нас неведомый, а вы за него принялись. Не дай Бог, зашибете еще...

— Что же делать-то с ним? Научи, кормилец! — слышались просьбы.

— Как что? Будто не знаете? А еще государыне-царевне служите верой и правдой! На суд к ней, пресветлой, отвести его надобно, вот что! Как она присудит, так тому и быть!

— А и вправду, что так! — закричали кругом. — Человек неведомый, может, и не тара-

руев он бес. Волоки его, братцы, на село!.. Пусть сама царевна скажет, что с ним делать...

Василия Лукича потащили.

### XXXIII

## У КРЫЛЬЦА

Он даже не упирался и не отбивался, прекрасно понимая, что всякое сопротивление в его положении было бы бесполезно. Напротив того, очутившись пред правительницей, он все-таки мог бы надеяться на некоторую пощаду: ведь как-никак, а Федор Шакловитый, очевидно, становился теперь большим человеком. Князю Агадар-Ковранскому не казалось странным даже его поведение у места казни. То, что Шакловитый сделал вид, будто не узнает князя Василия, было вполне естественно. Ведь если бы он и признался пред разъяренными стремянными, что знает их пленника, то это разъярило бы их еще более, и — кто знает — как бы могла закончиться внезапно вспыхнувшая свалка!

Все это понимал князь Василий и покорно

следовал за схватившими его стрельцами. Идти было не особенно далеко. После замечания Шакловитого стремянные обращались со своим пленником не так уже свирепо; их ярость, очевидно, уже прошла, и они теперь думали только о том, чтобы поскорее представить его своей возлюбленной царевне.

Вот и высокая тесовая изба, с красивым резным коньком. Она казалась лучшею из всех построек Воздвиженского. Да так и было: именно в этой избе приютилась на эти смутные дни царственная именинница. Толпа орущих стремянных вместе со своим пленником приблизилась к крыльцу и начала громкими криками вызывать к себе царевну. Несколько времени никто не выходил. Крики усиливались и привлекли любопытных и зевак.

Вдруг одно из окон приподнялось и под откидной рамой выглянуло красивое женское лицо.

— Царевна, сама царевна! — загудели голоса. — Будь здрава, мать наша, на многие лета!.. Пожалуй нас, матушка, своей милостью! Выйди к нам!

Как-то совсем незаметно под навесом крыльца вдруг очутилось несколько бояр, образовавших собою внушительную группу, и только тогда на фоне этих величавых стариков появилась могучая, рослая женская фигура. Это сама царица-именинница сочла нужным выйти на зов своих вернейших приверженцев.

Громкий клич радости огласил площадь; словно море вдруг заволновалось и зашумело от этих криков, рвавшихся уже из сотен могучих грудей. Шапки полетели вверх; видимо, восторг охватил всех этих людей. О пленнике забыли и он остался совершенно на свободе.

В эти мгновения князь Василий Лукич мог бы совершенно спокойно скрыться; ему для этого стоило только несколько податься назад, и тогда он очутился бы среди толпы, которая вполне укрыла бы его, и выбраться из которой уже не составило бы труда. Но он не сделал ни шага; он словно забыл сам в эти мгновения о всем на свете и стоял, как очарованный, глядя на царицу Софию, эту красавицу-женщину, гордо и дерзко смотревшую с высоты крыльца на шумевшее пред ней чело-

веческое море.

Князь Василий Лукич никогда до сих пор не видал близко царевны Софьи; он только слышал о ее красоте, о ее смелости, но никогда, особенно, не верил этому. Теперь он был вблизи этой богатыря-девицы, чувствовал на себе ее огненный взгляд, и ему казалось, что вместе с ним в его душу проникает какая-то неотразимая сила, быстро завладевающая и его разумом, и его душою. Он и сам не понимал, что с ним творится, но забыл и жалкую смерть Хованского, и свою вспышку, и, если бы эта могучая женщина на крыльце сейчас вот послала бы его на казнь, он умер бы без сопротивления, без ропота, без сожаления, радуясь одному тому, что умирает по ее приказанию.

Между тем крики несколько стихли, и, воспользовавшись этим, царевна властно заговорила своим несколько грубоватым голосом:

— Звали вы меня, молодцы? Вот и вышла я к вам. Что скажете, детушки? Зачем я вам понадобилась?

— Здрава будь, царевна-матушка, на мно-

гие лета! — ревом ответила толпа на это приветствие. — Вот пришли мы к тебе с неведомым человеком. Стоял он около того места, где головы Ивашки Тараруя да его отродья, князя Андрюшки, с плеч скатились, и нас, твоих верных стремянных, поносными словами неведомо за что честил.

— Где ж он, этот человек? — спросила царица, и в ее черных глазах как будто блеснули недобрые огоньки.

Князь Василий Лукич почувствовал, как толпа сзади нажала на него и выдвинула вперед, так что он очутился на нижней ступеньке крыльца, и в тот же самый момент он почувствовал на себе взгляд царевны-богатыря. Князь поднял голову и сам взглянул в упор на царевну. Их взгляды скрестились, как клинки, и, должно быть, в глазах князя Василия тоже было достаточно силы, потому что царица слегка потупилась, на ее щеках вспыхнул едва заметный румянец и голосом, менее суровым, чем прежде, она спросила:

— Ну, говори, не бойся, что ты за человек?

Агадар-Ковранский понял, что на его стороне очутилась вдруг выгода положения и

что он не пропадет, если сохранит присутствие духа и смелость.

— Твоего царского величества слуга верный, — проговорил он, называя себя. — Никогда я против тебя, государыня, не шел, оболгали меня людишки шумные. Сама, быть может, знаешь, что, не будь меня, тараруевы головы и до сих пор на плечах еще оставались бы.

Царевна вскинула на него изумленный взгляд, а затем произнесла:

— Ах, да, помню, помню! Дьяк Федор Леонтьевич уже не раз докладывал нам. Что ж, услуги нам мы не забываем, а поносить наших верных слуг тоже не годится.

— И не поносил я их, — дерзко ответил князь. — Говорю, шумны они! — намекнул он на нетрезвость многих стремянных. — А что сказал, то сказал. Сказал же я про Тараруя и его детеныша, а не про тех, кто их на казнь предал.

Однако, когда он снова взглянул на царевну, то сразу понял, что его слова пропали даром. Софья Алексеевна словно позабыла обо всем, что происходило. Она глядела куда-то

вперед, через головы толпы, и на ее лице появилось уже другое, отнюдь не суровое выражение. Улыбка так и расплылась по ее красивому лицу, глаза смотрели ласково, она как будто видела вдали что-то такое, что вдруг сделало ее счастливою.

— Так, так! — опомнилась она. — Ну, что ж, были у тебя, князь Василий Лукич, и заслуги пред нами, да ведомо мне, что и негодяйства тоже бывали. Так, памятуя заслуги твои, прошу тебя гостем быть моим, а вы, молодцы, ради именин моих, на князя Василия не гневайтесь и на мне не взыщите. Дорогой гость на именины едет, надо пойти по хозяйству распорядиться.

Все это царевна говорила торопливо; она, видимо, волновалась и спешила уйти поскорее от всех этих людей, так внимательно стороживших каждое ее движение, ловивших каждое ее слово.

— Ишь заерзала! — услышал позади себя князь Василий Лукич сдержанный шепот. — Издалека увидала, что князь Василий Васильевич Голицын жалуется. Все бабы на один лад.

Агадар-Ковранский оглянулся, чтобы взглянуть на дерзкого, но вместо этого увидел приближавшийся богатый, совсем не по-русски составленный, поезд. Вместо обычных вершников ехали впереди рейтары в немецких кафтанах, а за ними катилась богатая, нарядная карета с рослыми гайдуками на запятках. В тот же момент на плечо князя Василия опустилась чья-то рука, и ласковый голос, по которому он узнал Шакловитого, сказал ему чуть не на ухо:

— Ну, князь, вывернулись, так нечего глаза мозолить. Пойдем прочь скорей!

Шакловитый увлек за собою князя Агадар-Ковранского. А последний даже не подумал о том, что теперь будет с ним. Он повиновался Шакловитому и был готов на все, лишь бы не уходить отсюда, из этого кипевшего жизнью села. Чудовищной силой тянуло его к молодой царственной женщине, которую он увидел на крыльце. Он совершенно позабыл, что это — царица, что она недосягаема для него, и видел в ней только женщину, красота которой очаровывала его. Слыша вокруг себя мощные клики, которыми возбужденная тол-

па приветствовала князя Голицына, Василий Лукич вдруг ни с того, ни с сего почувствовал, что адски ненавидит этого человека и с наслаждением всадил бы ему между ребер нож, но в то же время сознавал, что князь Голицын для него совершенно недосыгаем, как недосыгаема для него и любовь могучей царевны.

## XXXIV ДЫХАНИЕ ЛЮБВИ

**Ш**акловитый увел князя Василия в какую-то надворную постройку, приспособленную под жилье. Он, видимо, очень торопился, так как, приказав слугам накормить и напоить гостя, ласково сказал ему:

— А меня, князь Василий, уж прости. Пойду туда князю Василию Васильевичу поклониться. Нельзя иначе: он меня любит, и я его привечать должен. Ты же, поди, устал после передраги... Вот покушай, подкрепись, а потом ляг, сосни малость... Я, как только там освобожусь, приду к тебе и обо всем мы с тобой поговорим. Много есть нам, чем словами

перекинуться; времена такие настали, что, ежели без разумения жить, так пропадешь совсем. Так будь милостив, князь Василий, подкрепляйся; помни, что ты у меня и никто здесь тебя тронуть не посмеет.

Шакловитый исчез, и только теперь, оставшись один, Василий Лукич почувствовал, как он устал во все эти дни непрерывных скитаний по волновавшейся Москве. Он присел на лавку, хотел было налить себе вина из стоявшего на столе объемистого кубка, но раздумал, отодвинул его прочь, потом опять придвинул, быстро налил чару до краев, залпом выпил, осушил вторую, за нею еще одну, другую и еще несколько чар. Что-то так и жгло его внутри, страшно жгло; словно огонь какой-то невидимый палил всего его и нечем было утолить это мучительное пламя.

— Что со мной творится? — провел он рукой по голове. — Или стремянные так напугали, что меня со страха лихорадит.

Князь чувствовал себя совсем плохо; его глаза заволакивал белесоватый туман, все помещение, где он находил-

ся, словно наполнилось его клубами, и в то

же время Василия Лукича жгло, жгло так, что по временам ему казалось, будто у него горит кожа; а между тем его трясла лихорадка. Пред ним как бы в тумане рисовалось что-то, какие-то смутные фигуры отовсюду кивали ему головами. То ему представлялись люди с перерезанными горлами, трясущиеся, кивавшие ему, и в них недавний атаман разбойников узнавал жертв своих придорожных неистовств. Он ясно различал их лица, видел широкие кровавые раны; но это не ужасало его — уж слишком были привычны для него такие зрелища. Дальше в туманной дымке он видел нагло смеющееся лицо Ивана Милославского, виновника того, что он пошел атаманствовать на большую дорогу. Рядом с ним выглянуло бритое, иссохшее лицо польского иезуита.

"Этот зачем? — удивился Василий Лукич. — Ведь я-то в его смерти неповинен. Милославский зарезал его, так зачем же он-то сюда пришел?"

Однако и это видение, созданное распаленным от болезни мозгом, только мелькнуло пред князем и на смену ему в какой-то дым-

ке глянуло другое — молодое женское — лицо, кротко смотревшее на него голубыми чистыми глазами. Василий Лукич сейчас же узнал его. Ведь эта была Ганночка Грушецкая, первая, кого он полюбил, действительно, искреннею любовью, та самая Грушецкая, которая стала потом русской царицею Агафьей Семеновной, и которую он пощадил в тот момент, когда распаленный вином и ядовитыми насмешками Милославских шел, чтобы отомстить ей за измену, в чем она вовсе была неповинна.

Теперь, видя это лицо, Василий Лукич почувствовал, как увлажнились его глаза и какое-то чувство, мимолетно знакомое ему, чувство всепрощения, смягчало его неукротимую душу.

— Милая, милая, ненаглядная — зашептал он. — Помню я тебя. В душегубствах неистовых старался я позабыть тебя, в крови людской хотел утопить любовь свою, ан нет, не по-моему вышло. Ушла ты с этого света, ушла, даже и не ведая любви моей!

Князь простер к дивному видению дрожавшие руки, но в белесоватом тумане вынырну-

ло новое красивое женское лицо, так и дышавшее могучей энергией, лицо с крупными чертами и с соболиными бровями, загнутыми дугою над горящими, как угли, глазами. Эти глаза глядели на Василия Лукича и словно жгли его своим искристым огнем. Неукротимо сердце князя-разбойника затрепетало, забилось, как попавшая в тенета птица, и вдруг князь Василий Лукич нежданно для самого себя понял, что значит это последнее видение, отчего вдруг замерло его сердце и закружилась его пылающая голова.

На него — неукротимого, злобящегося — во второй раз в жизни снизошла любовь, любовь пламенная, всезахватывающая, всепоглощающая. Богатырь-царевна там, на крыльце, двумя-тремя взглядами взяла в вечный плен сердце князя Василия Лукича, и он чувствовал, что конца края не будет этой его новой неволе, что на всю жизнь он останется безвольным рабом своей новой любви.

Нехорошо он почувствовал себя в это мгновение. Явилось удручающее сознание собственного ничтожества. В самом деле, что такое был он, разбойник с большой дороги,

пред нею, царевной, правившей как государь целым народом, целой необъятной страной.

Сознание всего этого успокоительно подействовало на Василия Лукича. Он почувствовал, что силы возвращаются к нему, а томительный туман мало-помалу рассеивается. Однако, ему не хватало воздуха в этой душной горенке и он чувствовал, что непременно должен выйти на воздух, дабы хоть несколько освежить себя. Повинуясь этому инстинктивному влечению, князь пошел было к двери, но побоялся выйти обычным путем. Ведь за дверьми, непременно, кто-нибудь должен был быть и без надзора его не выпустили бы. Тогда он прибег к обычному своему способу: он выпрыгнул прямо в окно и очутился в саду, окружавшем эту избу. Сразу же он увидел перед собою ярко освещенное окно, и словно какую-то силою его так и повлекло к нему. Ночь была теплая, окно оставалось открытым, и князь Василий Лукич свободно мог заглянуть внутрь горницы.

## МУКИ ОЖИДАНИЯ

Василий Лукич стоял под окном, скрытый в кустами уже давно пожелтевшей зелени. Он ясно видел все происходившее в комнате с приподнятыми оконными рамами и узнавал тех, кто находился там. Прежде всего он увидел царевну-правительницу, Софью Алексеевну, а с нею был и князь Василий Васильевич Голицын. Они свиделись впервые после того, как было между ними тайное свиданье в заброшенной беседке голицынского сада.

Князь Василий Васильевич терпеливо переносил эту разлуку. Его натура была вполне уравновешена, он не был способен к резким порывам, умел ждать и подчинять свои желания обстоятельствам. Но царевна Софья по характеру и пылкости была совсем другая. Порыв охватывал ее всецело и всякое ожидание заставляло ее нестерпимо страдать. Она даже несколько растерялась, когда увидела приближавшийся поезд своего "лапушки" и, только сделав большое усилие воли, овладела

собою и приняла нового именитого гостя, как подобало ее сану и положению.

Однако тут ее выдержки хватило ненадолго. Все присутствовавшие при этом приеме заметили, как сильно волновалась царица. Она то бледнела, то краснела, то вдруг становилась не в меру разговорчива, то неожиданно замолкала. Всем со стороны было видно, что она непомерно томилась. Наконец, она не выдержала и под предлогом усталости удалилась в свою опочивальню.

Это было как бы сигналом к тому, чтобы всем расходиться на отдых после этого чрезвычайного события дня.

— Мамушка! — кинулась на шею старой своей мамке царица, когда осталась одна с нею в просторной горнице, обращенной теперь в ее спальню. — Тяжко мне, милая, инда места не нахожу себе нигде...

— Да уж вижу, все вижу, — несколько ворчливым тоном ответила старуха — мне и говорить не надобно! Ждешь ты — не дождешься сокола-то своего!

— Жду, мамушка, — откровенно призналась Софья, — и так жду, что сердце так вот

на части и разрывается...

— Ну, и пожди еще малость времени, приведу я его к тебе. До утра времени много; вдо-сталь на милуетесь!

Вульгарное слово ударило царевну по нервам.

— Ты, старый пес, что это такое? — вдруг вспыхнула она. — Что я, девка, что ли, черная, что свиданья дожидаться не могу? Не для забавы у меня свет мой Васенька, а друг собинный! Ты попомни! — даже затопала она ногами на старуху. — Ежели хочу его видеть, так не для одной своей забавы, о коей и не помышляю даже, а для беседы душевной о делах государских.

Такие переходы от ласки и нежности к пламенным гневным вспышкам были у царевны нередки. В гневе Софья Алексеевна была прямо-таки страшна. Ее лицо все искажилось, губы начинали подергиваться, глаза метали молнии, и разгневанная царевна могла перепугать и нетрусливого человека. И теперь, как ни привыкла мамка к этим сценам, а все-таки струсила не на шутку.

— Прости, матушка-царевна, меня, нера-

зумную, — робко сказала она, сопровождая свои слова поклоном, — по глупости, разве, обмолвилась я.

Вид оробевшей старушки подействовал успокаивающе на царевну-богатыршу.

— Вот так-то все вы! — смягчилась она и потом заговорила уже с кротостью: — Все вы одним миром мазаны! Этакую тяготу пришлось мне поднять, врага такого сломить! Да и не сломлен он еще совсем-то: только у двух Хованских головы слетели.

— Еще отродьнице, князь Ивашка, остался, — напомнила старуха о втором гульливом сыне казненного старика, — еще бед немалых понаделать может, того и гляди стрельцов подымет.

— Не боюсь я стрельцов! Раскольники богомерзкие — вот кто страшны! По всему царству они рассеяны, и, где хоть один из них есть, смута тлеет. Вот кто мне страшен! А с ними вот так, как с Хованскими, не упрaviшься, все головы раскольничьи за один раз не снесешь. Вот и нужно думать, как от этой проклятой гидры упасть. Голова же у меня одна, да и голова-то, притом, бабья. Вот и хо-

чется, чтобы при мне была голова мужа достойного, чтобы могли мы вместе над государским делом думать. Васеньку Голицына я для того избрала и будет он при мне до окончания живота моего. С ним я власть свою разделю, а не для забавы он мне нужен. Поди, старая, приведи его!

## XXXVI

### РАЗБИТОЕ СЕРДЦЕ

Те минуты, которые провела Софья Алексеевна одна в ожидании князя Василия Васильевича, показались ей особенно длительными; они тянулись бесконечно, время словно остановило свой лет, мучая влюбленную женщину.

А разных мыслей и отрывков несвязных дум столько роилось в этой гордой головке, сколько еще никогда не тревожило ее во все то недолгое время, когда ей, царевне-богатырше, пришлось взять на себя всю тяготу управления великим государством.

Она, очутившись без всякой подготовки у власти, часто терялась, не зная, как ей посту-

пить, чью сторону держать. Отовсюду предъявлялись настойчивые требования, каждый из близких людей хотел, чтобы дела правления шли так, как ему хотелось. Даже такие родные люди, как Милославские, в особенности, старший дядя, Иван Михайлович, действовали только для себя, и нужд государства словно не существовало для них. Софья Алексеевна, хоть и богатыршей была духом и телом, все-таки была женщиной и мыслила поженски. Ей была нужна опора, а кто же и мог быть надежной опорой, как не человек, которому уже давным-давно было отдано ее девичье сердце?

— Васенька, светик мой радостный! — крикнула Софья Алексеевна, увидав входящего в ее покой князя Голицына. — Да и встосковалась же я, тебя ожидаючи!

Она бросилась к князю и порывисто обняла его. Прозвучал долгий, полный жгучей страсти поцелуй, другой, третий. Потом влюбленная царевна откинула назад голову Василия Васильевича и жадным, испытующим взором с минуту или две вглядывалась в его лицо, как бы желая проникнуть в тайники

этой души, узнать самые затаенные помыслы этого дорогого для нее человека.

Эту самую сцену и видел стоявший под окном князь Агадар-Ковранский.

Сперва дыхание остановилось у него в груди, в глазах потемнело, а в горле словно заклокотало что-то. Его рука сама собою потянулась к поясу, нащупывая рукоять ножа. Но это длилось только мгновение, кровь отхлынула от головы и перестала туманить мозг, руки бессильно опустились, весь он поник и как-то сразу ослаб. Он слышал поцелуи, страстный лепет, и нестерпимая тоска вдруг охватила его сердце.

"Нет! — вихрем летели в его мозгу мысли. — Видно, не суждено мне любить счастливо, не для меня на роду счастье написано!.."

И тут вдруг ему припомнилась его любовь к Ганночке Грушецкой, вспыхнувшая в его страстной душе вот так же неожиданно, как и теперь. Тогда она всецело родилась из жажды мести, но всецело овладела им. Это была бешеная страсть, и она не нашла себе ни малейшего удовлетворения: ведь Ганночка даже не узнала, что князь Агадар-Ковранский любил

ее, он в ее жизни был лишь мимолетным воспоминанием. Она даже не узнала о том, что только внезапно всколыхнувшийся в неукротимой душе добрый порыв отвел от нее смертельный удар.

Теперь случилось то же. Сразу был очарован Василий Лукич другой женщиной, и эта женщина, опять всколыхнувшая его душу, уже принадлежала другому.

Так и стоял неукротимый князь, около стены под окном, и все слабела и слабела его душа, замирал его мятущийся дух, ослабевала недавно еще могучая воля. А в открытое окно ясно слышался любовный лепет. В людях сказалось человеческое: ради любви было позабыто все на свете, нежному чувству уступили место все тревоги и заботы.

Посерела недолгая сентябрьская ночь, на востоке загоралась предрассветная заря.

— Новый день начинается! — проговорил князь Василий Васильевич, тихо подводя Софью Алексеевну к поднятому окну, сквозь которое врывались в неосвещенный покой утренняя свежесть и первые лучи еще невидимого солнца. — Видишь, ненаглядная?

— Пусть эта заря будет нашею зарею! — томно ответила Софья, — помни, Васенька: и на жизнь, и на смерть вместе.

— Да будет так! — с чувством проговорил Голицын.

В этот момент ему кинулась в глаза чья-то фигура, быстро удалявшаяся к воротам сада. Это уходил сломленный любовью князь Агдар-Ковранский.

## XXXVII ПОСЛЕ ВСПЫШКИ

**У**же на другое утро по Воздвиженскому разнеслась весть, что на Москве бунтуют стрельцы, пораженные слухом о казни своего батюшки Тараруя. Они, охваченные мстительным порывом, разобрали оружие и попробовали поднять бунт. Кремль был занят ватагами стрельцов, у которых оказались даже пушки, самовольно захваченные ими на Пушечном дворе. Стрельцы дошли до такой дерзости, что толпились на Крестовой у патриарха и грозили убить его. К ним скоро присоединились солдаты бутырского полка, также воору-

жившиеся и также озлобившиеся на отсутствующее правительство. Словом, вспыхивал новый бунт, грозивший залить кровью всю Москву.

Но в Воздвиженском уже не страшились этих новых волнений. Без Тараруя стрельцы отнюдь не казались опасными.

Тем не менее, весь двор перебрался из Воздвиженского в Троицко-Сергиевскую лавру, и она сейчас же была приведена в осадное положение; вместе с тем во все окрестные города поскакали придворные люди с царскими грамотами о том, чтобы служилые люди сходились к лавре в полном вооружении на защиту великих государей от злых врагов.

Главное начальство в многострадальном монастыре, превращенном в крепость, было возложено на князя Василия Васильевича Голицына, в Москву же для распоряжения был отправлен боярин Михаил Петрович Головин, человек нрава крутого и решительного.

Он своими распоряжениями показал волновавшимся стрельцам, что их теперь не боятся. Да те и сами поняли это: сбор служилых людей к Троицко-Сергиевской лавре нагнал

такого страха на "надворную пехоту", что многие стрельцы плакали, как дети, и вскоре же пришли к Головину с челобитной о царском жаловании их великою милостью: позволением быть при государях их выборными. От Головина они ходили с таким же челобитием к патриарху и так странствовали от одного вершителя их судеб к другому, пока, наконец, не вымолили себе указа "быть к государям в лавру стрелецким выборным по двадцати человек от полка".

Грозно встретила этих выборных правительница-царевна. Она сама вышла на крыльцо к ним и, буквально, кричала на них, понося их разными словами. Но волей-неволей приходилось им слушать: проиграно было стрелецкое дело!

Однако, стрельцы в ту пору не знали того, что их московская смута перекинулась в разные области и, особенно, на юг, в казацкие стороны. Там приводился, очевидно, в исполнение раскольничий план. Не осведомившись о том, в каком положении было московское "действие", раскольничьи агитаторы всюду, где было только возможно, поднимали ги-

ли и смуты. Во многих городах стрельцы отказывались слушать воевод, и к ним подставала жадная до всяких бесчинств чернь, всюду ходили по рукам подметные "воровские письма". Однако все эти вспышки были разрознены, не было согласованности в действиях, а потому грандиозные замыслы о восстановлении старой веры всюду терпели крушение...

Двор не особенно торопился с возвращением в Москву, и из лавры правительница именем великих государей рассылала свои указы.

Конечно, они прежде всего касались виновников всей этой передраги — стрельцов. Было уничтожено их прозвание "надворной пехоты", которым они крайне гордились, и вместо того явился уже официальный "Стрелецкий приказ", главным начальником которого был назначен дьяк Федор Леонтьевич Шакловитый.

К концу октября вся смута была ликвидирована и 6 ноября двор торжественно возвратился в Москву.

Князь Василий Васильевич Голицын возвратился в столицу первым лицом в прави-

тельстве после царевны: он уже носил титул "Царственные большие печати и государственных великих посольских дел сберегателя".

## XXXVIII

### ПОСЛЕ РАССЕЯВШЕЙСЯ БУРИ

**В** Москве после всей этой стрельцкой передряги воцарились давно желанные мир и тишина. Внезапно налетевшая буря, казалось, на этот раз не оставила и следа. До "крови" не дошло, стрельцов удалось укротить без массовых казней. Они поняли, что со смертью Хованских их дело проиграно, что не вождь им и не мститель за погибших отца и брата гуляка-князь Иван Хованский. Все его попытки поднять стрельцкую гиль не шли дальше кружал, и если причиняли кому беспокойство, то только присяжным целовальникам, не всегда уверенным, что подгулявшие стрельцы уплатят за выпитое.

Железные руки Федора Шакловитого сдерживали даже самых завзятых буйнов от открытого бунта. Да и немного прежних стрель-

цов оставалось на Москве. Все полки, которые были нагнаны в столицу из городов, были возвращены обратно. Из Москвы прежде всего были удалены самые буйные астраханские стрельцы, главный раскольничий оплот прежней "надворной пехоты", самые яростные противники всяких новшеств. Заместившие их новички держались пока тише воды, ниже травы. Стрелецкие полки незаметно, но быстро из преторианской гвардии обращались в самый заурядный гарнизон, и против них была выдвинута теперь новая сила — солдатские полки, число которых все возрастало.

У стрельцов, несмотря на уничтожение звания "надворной пехоты", все еще сохранились кое-какие привилегии, у солдат же не было никаких. И это было причиною ожесточенной ненависти последних к первым. Таким образом, одной грубой силой была противопоставлена другая. Обе эти силы были парализованы этим в том случае, если бы они вздумали обратить свое оружие против правительства.

В эту пору у всех в Москве было в памяти и

сердцах имя князя Василия Васильевича Голицына, "сберегателя", как все называли его. Именно ему все приписывали то, что смута промелькнула мимо, не залив столицы кровью.

Женский ум и в те времена стоил малого в глазах русских людей. Как бы ни была талантлива правительница, ее талантливости не замечали, а вместо нее видели "сберегателя". Он начинал развертываться во всю мощь своего недюжинного таланта и вел внешнюю политику московского государства так, что пред Москвою стали заискивать зарубежные соседи.

И в самом деле, никогда еще Москва не видала столько иноземных посольств, сколько в эти первые дни и месяцы всевластия царевны Софьи. Князь Голицын так ловко повел дело, что был заключен "вечный мир" с Польшей, по которому к России отошла вся Малороссия с Киевом и киевский митрополит оказался в подчинении у московского патриарха. Само собою, при этом вместо ненавистника России, гетмана Дорошенко, был "избран" гетманом, уже обоих берегов Днепра и всей

Украины, пронырливый Иван Степанович Мазепа — человек, лучше которого и нельзя было желать для Москвы на этом посту. Таким образом, Малая Россия воссоединилась с Великою Россией, а это был шаг, недоступный для дипломатов предшествовавших царствований.

Другим блестящим делом "оберегателя" было вступление России в "священный союз народов против турок", который тогда возник в Западной Европе. "Оберегатель" так ловко повел дело, что России было предложено вступление в союз, а не сама она входила в него. Турки в то время были в нынешней Подольской губернии. Польша должна была вести с ними ожесточенные оборонительные войны, и участие России в союзе обеспечивало от них Европу.

Благодаря этому, европейский дух со всеми его стремлениями к новшествам благодетельного прогресса и эти стремления встречали в московском государстве благодатную, готовую к их восприятию самобытную почву. Прогресс шел естественным путем; образование быстро развивалось, крепчала Русь вели-

кая...

Многочисленные посольства, прибывавшие в Москву со всех концов Европы, различные торжества по случаю их прибытия, на которые отнюдь не скупилась правительница, приучали русских людей к братанью с иноземцами. Москвичи, а через них и вся Россия, видели, что и за рубежом живут такие же, как и русские, люди, и Бог так же, как и в Москве, всяким их грехам терпит.

Начиналось великое сближение русско-азиатского Востока с европейским Западом.

## XXXIX

# МРАЧНЫЕ ТЕНИ

Нужно ли говорить, как была упоена восторгом молодая правительница в эту счастливую пору своей жизни? Все удавалось ей, ее имя гремело по всей Европе и было славно не менее, чем имя ее родителя, положившего могучее начало единения России с Европой. Великие замыслы роились в женской полной фантазии головке, но центром всех дум и мыслей царевны-богатырши все-таки оставался ее собинный друг-"оберегатель".

И вот однажды, покончив с государственными делами, Софья и Голицын заговорили уже не как государыня и ее первый министр, а как добрые друзья, крепко спаянные вместе искреннею, хотя и потерявшею пылкость, любовью и общностью интересов и идеалов, которым оба они служили.

— Помнишь, свет Софьюшка, — проговорил Голицын, откладывая в сторону только что доложенную им правительнице "статью"

О каком-то важном посольском деле, — помнишь ли ты, как мы с тобою в утро после казни Хованского у окошка стояли и восходящею зарею любовались?

— Помню, Васенька! Как не помнить! — ответила царевна. — То была наша заря...

— А за зарей, — вздыхая произнес князь Василий Васильевич, — всегда утро и полдень следуют, а там — глядишь — совсем незаметно и вечер с ночью подходят; а ночи после ясной зари бывают темные, непроглядные. Случается так, что ни единой звездочки на небе не светит, и после яркого дня человек такую ночью чувствует себя, как в сырой могиле.

— Ты к чему это, князь Василий? — спросила царевна.

— А к тому, несравненная, — тихо проговорил Голицын, — что, чувствуется мне, короток будет наш день, ночь же наша близка...

— Экие у тебя мысли, Васенька! — досадливо отмахнулась царевна. — И с чего они только к тебе приходят? Кажется, все ладно идет; все к нам с уважением относятся, разные там короли из-за рубежа и мне, и тебе хорошие

подарки шлют. Стрельцы окаянные уняты: умеет справляться с ними ставленник твой, Федя Шакловитый, да и раскольники примолкли, будто их и не бывало никогда. Во всем прочем тоже. все ладно идет и нечего нашему дню к закату близиться. Далеко еще он, закат-то твой!..

— А что ж ты, царевна, разве о своих братьях-царях позабыла? — тихо спросил "сберегатель". — Царь-то, Петрушенька, растет не по дням, а по часам. Вишь ты, царица Наталья Кирилловна уже и о невестах для него думает.

По лицу Софьи Алексеевны скользнула мрачная тень, и оно сразу же приняло жестокое, портившее ее красоту, выражение.

— Не забывала я о них, о братьях-то, — глухо произнесла она, — а все же так я думаю, что для нас с тобой, князь Василий, да и для нашего государства, куда было бы лучше, ежели бы этих братьев и во век не было.

— Нехорошие мысли, царевна, — перебил ее Голицын, — злые мысли! Что бы мы с тобой о себе ни думали, как бы хорошо дело наше ни было, а все-таки цари они законные, на

престол венчаннные, и народ пойдет за ними, а не за нами.

Брови царевны нахмурились еще более.

— А ежели не пойдет? Ежели мы народ отворотим от сего пути и заставим его под нашу дудку плясать? Что ты тут скажешь?

— Ничего не скажу, царевна. Незаконное это дело будет. Люблю я тебя, моя ненаглядная, пуще всего на белом свете. Служу тебе, как самому себе не служил бы никогда, а против совести своей идти не могу вовеки. Совесть же мне говорит, что, как только окончательно войдет в разум царь Петр Алексеевич, так и должны мы будем передать ему царство. Он — законный царь, он должен наш народ к великому счастью вести. Это — его право.

— Да куда-то он его с такого ума своего заведет! — упрямо возразила царевна. — Сам знаешь, каков он! Еще только-только подрастать начал, а уже от великого шумства голова трясется, как у кружального завседатая. Хорош царь будет!

— А кто виноват, царевна? — чуть слышно проговорил князь Василий Васильевич и в

упор посмотрел на Софью.

Та не выдержала этого взгляда и потупилась.

— Ну, полно нам говорить с тобою о том, что будет! — воскликнула она, оправляясь от невольного смущения. — Ежели такое с ним приключается, так его мать в том виновата. Чего головой-то качаешь? — вдруг раздражилась она, заметив, что "оберегатель" укоризненно покачал головой. — Я его не спаиваю, даже видеть редко вижу, так что в ответ за него никогда не буду... А ты об этом брось говорить и думать! Помнишь, поди, какое мы слово друг другу сказали, когда наша заря на небо восходила тогда в Воздвиженском?

— Помню, царевна! — ответил Голицын. — Порешили мы с тобою и в жизни, и на смерть рука об руку идти...

— Ну, так вот и все тут. Жить живем, свое дело делаем, а ежели смерть придет, так не два раза умирать. Только, ежели она, смерть-то, раньше времени придет, я ей так не сдамся. Недаром мне от Господа неженская сила дана. Уж только ты-то меня, Васенька, не оставляй! — под влиянием быстро сменивше-

гося порыва совсем уже плаксиво, по-женски, заговорила царевна-богатырша. — Знаю, будет мне худо тогда!.. Все побегут прочь — и не пожалею я о других. Ты уйдешь — солнце на небе для меня померкнет...

— Не уйду я сам, — кротко проговорил Голицын, — но разлучат нас с тобою, когда наша ночь надвинется. Не помилуют нас, царевна...

— Что? Разлучат? — полная яростного гнева, воскликнула Софья Алексеевна, и ее глаза так и заметали молнии. — Уж не нарышкинец ли посмеет на это? Так я тогда батюшкина государства не пожалею. Раскольников всех подыму, стрельцов на него спущу. Он пропадет, а мы с тобою, как были, так и останемся.

Князь Василий молча смотрел на нее.

А царевна мощным усилием воли подавила охвативший ее порыв и заговорила уже другим, властным тоном:

— Князь Василий, все государи из-за рубежа мне с великой похвалою о твоих, оберегатель, великих делах пишут. Говорят, что другого такого, как ты, и на земле нет, а я вот ду-

маю, что мало видит тебя народ наш и славы твоей не замечает. Так хочу я, чтобы оберегатель мой и царства и на ратном поле стяжал себе великую славу. Тогда вся Русь увидит и восхвалит его, а потом, — она опять перешла на интимный тон, — уж если старый Тараруй меня себе в жены метил, да не пошла я за него, так, может быть, славный герой-победитель к тому времени овдовеет и меня, старую да некрасивую, после честного венца своей женой назовет.

Она стояла пред Голицыным, вытянувшись во весь свой богатырский рост, и ее красивое лицо горело восторгом, князь же Голицын, глядя на эту жгучую красавицу, грустно-грустно улыбался.

## ОСУЩЕСТВЛЕННЫЕ МЕЧТАНИЯ

Оставшись после ухода Голицына одна, царица Софья Алексеевна вдруг залилась слезами, — горькими, обильными слезами! Слезы совсем не шли к ее лицу и делали ее некрасивой, но, оставаясь одна, Софья Алексеевна в последнее время нередко давала волю своим чувствованиям, в особенности, той тревоге, которая уже давно накапливалась в ее сердце, но которой она ни за что не показала бы ни пред кем на свете, даже пред своим свет-Васенькой...

Все то, что говорил ей в это свидание князь Василий Васильевич, она и сама уже давно чувствовала, понимала и только силою воли старалась отстранить от себя тягостные думы. Царица чувствовала всю непрочность своего положения "около престола". Она понимала, что, как только ее брат Петр достигнет совершеннолетия, ей придется уйти, и это страшно пугало ее. Страшила ее та участь Голицына, которая могла последовать, если бы над ним

очутился ненавидевший его брат Петр. Он — царь Петр — и ее самое, свою родную сестру-то, терпеть не мог, и Софья знала об этом, а тех, кто служил ей, прямо-таки ненавидел.

И вот в богатырской голове царевны давно уже созрела смелая мысль заставить весь народ полюбить ее фаворита. Для этого-то она и хотела облечь его ореолом народного героя, и это вовсе не казалось ей трудным. Русское царство сильно страдало от крымцев, постоянно тревоживших своими неистовыми набегами юг тогдашней России. Тот, кто разорил бы это проклятое гнездо, мог бы приобрести себе великую славу, стал бы народным героем. Так отчего же победителем крымцев не сделаться ее свет-Васеньке?

Однако царевна знала, что неохотно пойдет на это князь Василий, что он — враг всякого кровопролития ратного. Но и это не особенно смущало ее: она была уверена, что так или иначе ей удастся уговорить своего любимца принять ратное поле. Не спрашиваясь "оберегателя", она послала на Днепр к казакам Федора Шакловитого, чтобы обследовать все это дело. А тот исполнил ее поручение

тщательно и донес, что все казаки — и днепровские, и украинские — ждут, не дождутся, когда могучая Москва двинется на их вековечного врага. Тогда Софья Алексеевна принялась за своего свет-Васеньку, и ей удалось очень скоро уговорить Голицына отправиться в Киев для переговоров, а в случае надобности, и принять на себя начальствование в походе, если бы таковой состоялся.

Голицын отправился с большой неохотой. Он как раз в то время вел переговоры с Китаем об исправлении границы, но тем не менее решил отправиться походом на крымцев, предварительно заключив знаменитый Нерчинский договор, благодаря которому Россия стала ближайшим соседом Китая. В 1686 году во главе сотысячного войска он выступил в поход.

Еще раз пред походом царевна тайно свиделась со своим собинным другом. Много-много было переговорено между ними на этом свидании. Хмур был князь Василий — ведь он шел на такое дело, к какому никакого желания не чувствовал. Невесела была также и царевна.

— Не боюсь я, Васенька, — сказала она, — за тебя. Знаю, что ты здоров и невредим с похода вернешься, а щемит мое сердце оттого, что не ведаю, как этот поход кончится, будет ли в нем слава для тебя.

Голицын ни слова не ответил на этот вопрос. Ему больше, чем Софье, было известно, что не оправдаются их надежды. Нигде на земле русской места не было, в котором бы не плакала жена, мать, невеста, сестра, не горевали бы родители и родные. Дал себя почувствовать набор стотысячного войска!

## XLI РОКОВОЙ ЗАКАТ

**П**ервый крымский поход князя Василия Васильевича Голицына не оправдал надежд, которые возлагала на него правительница. Он не был неудачен, но и не было свершено никаких таких подвигов, которые стяжали бы "оберегателью" славу героя. Крымское гнездо осталось невредимо и даже нисколько не пострадало, так как русские войска не проникли в глубь полуострова.

Понадобился второй поход.

На этот раз было собрано 112 000 войска, и 20 мая 1689 года русские стали уже у Перекопа, укрепленного замка, защищавшего ров через перешеек. За этим рвом был Крым. Для настоящего полководца оставалось только шагнуть вперед, так как оба укрепления Перекопа не могли оказать серьезное сопротивление, но "оберегатель" был не полководцем, а дипломатом, и вместо решительного натиска повел переговоры с ханом, надеясь так "напугать" его, что он и без битв на ратном поле сделает все, что хотелось врагу. Хан и "испугался". Он собрал у Перекопа свои бесчисленные орды, перепортил колодцы, и русскому войску волей-неволей пришлось уйти.

Татары даже не преследовали его, и когда "оберегатель" послал подробное донесение обо всем этом правительнице, то она даже в восторг пришла, несмотря на явную неудачу.

Действительно ослепленная страстью царица была в восторге от того, что "свет ее ясный" избег страшной опасности и возвратился здоровым из степного похода, где он мог погибнуть со всем войском. Голицын казался

ей "вторым Моисеем", проведшим своих людей по дну морскому.

Но так смотрела на ратные подвиги "оберегателя" только одна правительница, отуманенная, ослепленная своею любовью, все же кругом — и знать, и народ — видели только неуспех, и все ее восхваления казались им просто смешными. Софья же в своем ослеплении ни с чем не считалась. Все, что говорилось о неудаче обоих походов, она приписывала недоброжелательству, зависти, обычным проискам.

Когда князь Василий Васильевич возвратился в Москву, ему была устроена триумфальная встреча, как будто он и в самом деле стяжал себе лавры героя под Перекопом.

Однако, этот умный и, главное, честный человек прекрасно знал, что замыслы царевны провалились и что уже наступало начало его и ее конца. Когда он в качестве "триумфатора" прибыл в царские палаты на поклон великим государям, то, прежде чем взглянуть на "свою царевну", он поглядел на высокого, очень похожего на нее юношу, сидевшего на втором царском месте; он поглядел, и нехоро-

шо стало у него на сердце!

Это был младший царь Петр Алексеевич, которого Голицын не видел больше двух лет. Рядом с недоумком-братом Иоанном V он производил неотразимое впечатление: высокий, статный, с таким же, как и у сестры Софьи, горящим взором, с заметно подергивающеюся головою, он показался "оберегателю" истинным властелином, таким, какими уже давно представлял себе Голицын московских властителей. Когда он перевел свой взор на стоявшую рядом с царским престолом правительницу, то она показалась ему слабой и жалкой женщиной, ничтожеством, которое этот подросший богатырек мог раздавить и уничтожить в каждое мгновение.

"Вот он, вечер-то ненастный! — невольно подумалось Голицыну, — и близкая ночь непроглядная... Где-то только будут моя да Софьюшкина могилы?"

Но царевна была наверху блаженства; в мгновение радостной встречи будущее словно перестало существовать для нее, а потом даже не пошли, а помчались с быстротою молнии дни великого упоения. Влюбленная

правительница словно позабыла о всех государственных делах, к которым она была так прилежна. Она упивалась своею любовью, словно стараясь наверстать все то, что было потеряно в дни горестной разлуки.

"Оберегатель" пытался вернуть царевну на прежнюю деловую почву. Он указывал ей на подростка-брата, на то, что не за горами то время, когда им придется "сдавать царство" молодому царю. Однако Софья и слушать об этом не хотела.

— Ему, нарышкинцу, государство сдать? — со смехом восклицала она. — Да не бывать тому во-веки!.. Что он за царь? Недалеко от Иванушки-братца ушел... Ты, оберегатель мой, только посмотри на него: женат, дитя ждет, а сам только и делает, что в солдатики играет. Вон потешных себе завел, с ними забавляется. Теперь в Кокуй-слободу к немцам зачастил, говорят, прелестницу, Монса кабатчика дочку, там себе подыскал, с ней там хороваются. Нет, не царь это! Государство погубит, ежели ему престол передать! Так и не бывать этому!.. Сказала, что стрельцов на него напущу, раскольников подыму, смуту великую на-

строю, а все-таки к царским делам загорожу ему дорогу... Ты, хоть и не венчанный, а царем через меня будешь. И устроим мы народ наш в счастье, на новый лад все порядки в нашем царстве заведем... И то уже много новшеств наш народ принял.

В самом деле дивное было это время незаметно, но быстро двигавшегося благодетельного прогресса. Без всякой ломки новшества входили в народный обиход. Их никто народу не навязывал, он сам принимал их. Эволюция совершалась правильно. Но не судил Бог счастья многострадальной России! Близка была гигантская ломка, поставившая великий народ в хвосте всех его ничтожных соседей...

Солнце царевны-богатырши уже закатывалось, но она, упоенная своим счастьем, не замечала этого заката: ей, бедной, казалось, что все еще длится безоблачный день.